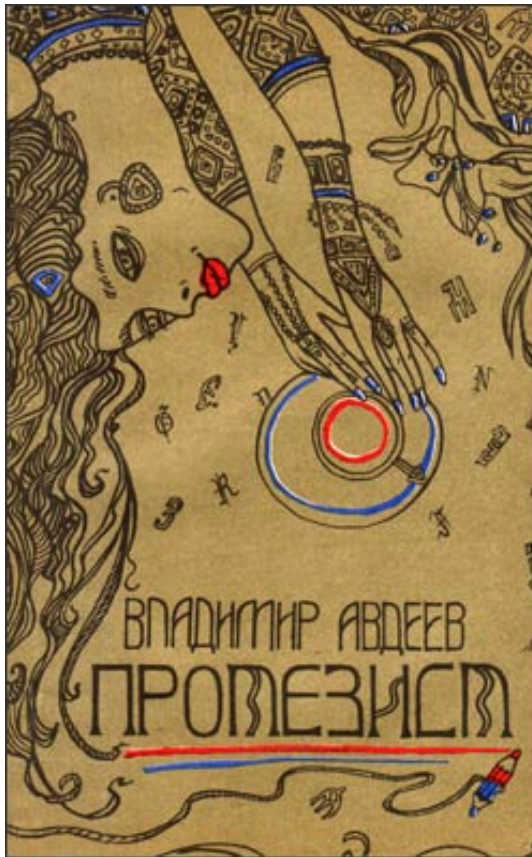


**Владимир Авдеев**

## **ПРОТЕЗИСТ**

роман



---

**ВЛАДИМИР АВДЕЕВ**

Протезист

Роман

ХАРЬКОВ

Издательско-коммерческое предприятие

«ПАРИТЕТ» ЛТД

1992

Если Вы устали от современной бульварной литературы, но и христианский пессимизм русской классики Вас не прельщает своей отстраненностью от жизни, если у Вас высокий интеллектуальный потенциал, но не было возможности ознакомиться с произведениями Ницше, Шопенгауэра, Кьеркегора, Ясперса, Набокова, Пруста и др., если Ваша душа изголодалась по романтической любви и Вы жаждете героя с активной жизненной позицией, то роман «Протезист» молодого писателя, философа и коммерсанта В. Авдеева – то, что Вам нужно.

Это второе крупное произведение автора, начавшего литературную карьеру римской стилизацией в рубрике «Элитарная проза» «Литературной газеты» в 1989 г. Затем в № 1 журнала «Советская литература» за 1990 г. был опубликован рассказ – притча «Плачя», вызвавший положительный резонанс у наиболее интеллектуальной части литературного мира.

Роман «Страсти по Габриэлю», вышедший в издательстве «Столица» в 1990 г., по мнению рецензентов, – «явление далеко не рядовое», «и если бы литература у нас развивалась нормально, на него, безусловно, обратили бы внимание».

Жанр философско-художественной прозы в России никогда не был широко развит, поэтому оба романа продолжают скорее европейскую философскую, нежели русскую литературную традицию. Роман «Протезист» так же, как и предыдущий, является пропагандой сильной личности нового типа, что тоже не было свойственно русской литературе.

Концентрированность языка и обилие афоризмов, как собственных, так и не известных у нас авторов, погружает в особую интеллектуальную атмосферу, которая, по мнению критики, «гармонична для самого автора», глубоко владеющего материалом.

Роман «Протезист» – многоуровневый, в нем чувствуются глубокие культурные корни и, в то же время, аллегорическая злободневность; это и «костюмированный» роман, и социальная утопия. Дамам будет по душе романтическая любовная линия со счастливым концом, а молодым умам – идея духовной свободы, трактуемая как условие всеобщего благоденствия. Парадоксальность суждений, переплетающихся с четко выраженными гражданской и нравственной позициями утверждает за автором право именоваться литератором будущего.

От редактора

---

**Максу Штирнеру посвящается**

Не стыдно, ибо постыдно;  
предельно достоверно, ибо нелепо;  
уверенно, ибо невозможно.

**Тертуллиан**

Правота, с которой вы так неправы,  
делает мою правоту к вашим правам  
столь бесправной, что я не без права  
могу жаловаться на вашу правоту.

**Архиепископ Юлиан Толедский**

**§ 1**

Все вещи давным-давно являются чьей-то собственностью. Даже за теми вещами, что еще только могут появиться в далеком будущем, закреплена ныне непререкаемая собственность. Вещи, произведенные много лет назад, разобраны по коллекциям и частным собраниям. Все в этом мире так или иначе является чьим-то, и горе тому, кто надумал посягнуть на чужую собственность.

Теперь я собираю оставшиеся от вещей слова и присваиваю их себе. Все слова, которые миллиарды людей записывали и произносили на протяжении веков во всех частях света, были, по существу, ничьими словами.

Я решил прекратить это неслыханное расхожее безобразие и объявить все слова разом своей собственностью, а посему отныне расходую свою жизнь на то, чтобы как можно большее количество слов изъять из мирового обращения и присвоить себе.

Мир появился, как изумительный жест, из единого слова. Тысячелетиями он успешно давал себя знать, перемежая слова делами. Наконец, когда все дела на Земле были сделаны, а слова высказаны, он вновь сжался в единое слово.

**В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...**

**...В КОНЦЕ ТОЖЕ БЫЛО СЛОВО.**

И, подумав так, я записал все это, поставив точную дату и разборчивую подпись так, чтобы у въедливых юристов и дотошных историков не было никаких сомнений относительно моего приоритета.

*1 июня 1992 года, полдень.  
Фома Неверующий.*

**§ 2**

Всего несколько часов назад я выписался из больницы, в которой провел значительное время. Значительное потому, что все оно, сколько его было, тупой неоформленной массой упало на дно души. Пока готовились документы, свидетельствующие о моем выздоровлении и пригодности к размеренному общественному бытию, я решил последний раз вымыть руки в этом пристанище застиранных оттенков белого цвета, так чтобы избавиться от эффекта присутствия главврача (...)

Выронив кусок мыла и нагибаясь за ним, ощутил на себе полдюжины взоров, которыми меня оделили постоянные пациенты больницы, прослышавшие о том, что мое путешествие в болезнь закончилось...

Траченные антибиотиками взгляды сочувствующих моему выздоровлению остались внизу, не поднимаясь выше раковины. Я ворошил вереницу латинских букв, подстраиваясь под них языком, точно под выбитые зубы, и переставлял их с места на место, заучивая название недуга, который якобы был моим уделом последнее время. Что мне делать с этим временем? Не могу приставить ни к прошедшему, ни к будущему столь простую сумму длительностей. Она не сочленима ни с чем из того, что было в моей жизни. Мертвый академический язык философии, теологии, права и медицины. Я не владею латынью и потому не знаю, чем был болен. Из задумчивого потирания переносицы главврачом я понял лишь одно: то, что было со мною, можно условно обозначить как обширный воспалительный процесс. Больше я не знаю ничего, потому что у меня ничто конкретно не болело. Оголтелый цинизм распирает глаза и расталкивает легкие в тугих профилактических вздохах, и я, не дождавшись оклика, иду получать кипу листов, испещренных остроконечным, ранищим глаза почерком, где в конце будет значиться как приговор: «Окончательно здоров».

Поезд уносит меня из загородной больницы, где я, долгие месяцы смиренно кутаясь в пронумерованный халат, глотал чистый сосновый воздух с тишайшими грезами о выздоровлении. Меня выписали...

...теперь нужно было куда-то себя вписывать (...)

Я утратил чувство реальности, перестав получать всякое удовольствие от настоящего времени, и потому не замечал в вагоне по-летнему празднично одетых людей, оживленных привычной суетой разгоняющегося дня.

Время всегда вмещает больше, чем нам кажется, особенно прошедшее время.

У меня еще будет возможность убедиться в этом, а сейчас еще не знаю, придусь ли ко двору новому бытию, которое нещадно уродует старые толкования и привычки. Этот дурнотный аромат столкновения прошлого и будущего в ущерб настоящему доносился до меня через заносчивые газетные заголовки и тяжеловесные сплетни, что кочуют из уст в уста, меняя лишь наряды пристрастий. В душе моей было дико, пестро и мучительно.

«Мы движемся в области частичных истин». [Френсис Герберт Брэдли.]

Состояние общей моей безжеланности, стремительно пронзающее пригородное расстояние, нарушил железнодорожный контролер. Я воззрился на его челночный бег мимо сдвигающихся коленей пассажиров, и он моментально почувствовался мне белым кроликом с красными глазами с первой страницы «Алисы в стране чудес». Мне, как и Алисе, его присутствие не показалось особенно странным. Засаленные пузыри на форменных брюках самым диковинным образом симметрично дополняли общую сощуренную подслеповатость очков. Любопытный человек. В старину про таких, как он, говорили: «Лишен употребления собственных чувств». Я выудил билет, рассматривая потускневшую кокарду на фуражке цвета жемчужной пробки. Контролер уперся диоптриями в мой билет, подрагивая крыльями носа, также привлеченного к дознанию.

– Что-то не так? – спросил я, когда поезд, уже изрядно подергавшись всем телом, точно гусеница, замер на месте. Контролер отшатнулся, возвратив продырявленный билет, и убежал, качая плечами в такт вращающимся в разные стороны недоуменным головам. Женщины оставили вязание и периодическую литературу, обратились за разъяснениями к своим спутникам, недовольно оглаживающим лацканы пиджаков. Разъяснений не последовало.

– Опять. Топорная космическая держава, – произнес мужчина с дощатого цвета лицом, тиская старый портфель.

– Как вам не стыдно! – хлопотала дородная мать семейства, плотно закупорив декольте платком.

Они откровенно сцепились, обвиняя друг друга в остановке поезда и всех иных космических упущениях. Под их ногами в бильярдной чехарде уже метались яблоки, надкушенные каблуками, и скулила затравленная болонка с фиолетовым бантом на шее, когда мужчина и женщина вместе со всеми прочими пассажирами выходили из поезда, непрерывно охая в тесных дверях. Обильные демагогические возгласы сновали в воздухе, сделав его еще более душным и неприятным. Кто-то уже кричал, что впереди на путях произошла катастрофа.

Легко выпрыгнув из вагона, я помог веселому сухощавому старику сгрузить его клетки с диковинными птицами, которые кровожадно трещали на некоем экзотическом языке, танцеобразно беснуясь на жердочках. Меня воодушевленно толкнули, глухо поблагодарили, испепелили неразборчивым взглядом и увлекли в сторону низкого рыжего кустарника. Потом меня укусил комар, не побрезговавший даже больничным запахом. Странный голос из мегафона приглашал всех покинуть поезд:

– Соблюдайте спокойствие, будьте взаимно вежливы, помогайте детям и престарелым. Поезд дальше не пойдет, слева от состава желающих ждут автобусы, которые доставят вас в город. Просим прощения за технические неисправности. Соблюдайте спокойствие, будьте...

В ботинок лазутчески пробрался дьявольский острый камешек, и тут я отчетливо понял, что этот голос, разносимый мегафоном на добрые расстояния, был не похож на те голоса, что мне приходилось слыживать ранее на всевозможных сборищах. Специфическая электрическая хрипота, набор слов, паузы – все было привычным, но манера, интонация были совершенно новыми. Раньше люди с мегафонами всегда говорили наставительно строго, порой срываясь на грациозную хищность. Человек мог быть сколь угодно добр, но, поднося ко рту мегафон, он уподоблялся непререкаемому монстру, насаждающему тюремные порядки. Этот же, напротив, заискивающе извинялся откуда-то из-за головного вагона, усиленно запиная в рупор не корни слов, а окончания так, чтобы хорошей дикцией убедить всех быть еще более взаимно вежливыми. Мне пришла в голову мысль, что это всего лишь мегафон новой марки. Но длинноногая волоокая блондинка и держащая ее под руку престарелая кружевная дама всецело поглотили мое внимание. Я приблизился к ним, выходя на обещанную дорогу с вереницей понурых автобусов.

– Прежде я и не думала, что у нас тоже бывают крушения поездов, а теперь...

– О чем вы говорите, почтеннейшая, раньше мы многого не знали, – перебил ее сухощавый старик, потрясающий птичьими клетками, чтобы успокоить пернатых, которые, кажется, уже обрывали насиженные жердочки.

– Ну и что, что не знали, зато жили спокойнее... – парировала дама обычной убедительной грудной интонацией.

– ...и счастливее... – вставила блондинка.

– Как вам не стыдно! Теперь, когда все стало известно о том, что было раньше, – воскликнула женщина, которая затеяла спор еще в вагоне. Откупорив декольте, она вытирала платком пунцовый лоб.

– Нищая, топорная, бестолковая держава, – опять злорадно вставил мужчина, с трудом застегивая поминутно отрывающийся затасканный портфель.

Они сцепились снова, долго выбирая, чью же точку зрения первой пропустить в автобус. А я поднял перламутровое птичье перо и, наслаждаясь вереницами оттенков, уживающихся на его поверхности, сел в автобус, опять в истоме прибившись к окну, словно оно обещало что-то дать, а не показать, и мысленно листал гигантские географические карты, начав обзор с той из них, на которой еще не было ни границ, ни племен. Вот побежали строчки границ, обозначились разноцветные стрелки с надписями и датами завоевательных походов. Расцвело многоплемяе. Появились города: Границы расширились, толще стали стрелы вторжений. Карты украсились гербами. Амбициозно смотрели львы, драконы, медведи. Вызывающе пестрели короны, молнии, мечи, топоры и кресты. Рассмотрев последнюю обширную карту, не имеющую уже

никаких художественных излишеств, но пышущую административной строгостью сотен названий, я приехал в город. С трудом выгнав из легких пластмассовый запах новой автобусной обивки салона, я направился домой. В подъезде на лестнице было слышно, как где-то за стеной в агонии забили часы, настырно шагая сквозь полдень, и на двенадцатом ударе я попал ключом в замочную скважину своей квартиры. Не снимая обуви, прошел в большую комнату, достал блокнот, вынул двуцветный сине-красный карандаш и, присев за стол, по прошествии нескольких минут оставил в нем запись, всю сделанную красным концом, поставив, красную же, подпись:

1 июня 1992 года, полдень.  
Фома Неверующий.

Я давил на карандаш так сильно (!!!), что идеально отточенный конец к завершению действия стесался уже окончательно, терзая бумагу деревянными краями. Швырнув блокнот на письменный стол и изрядно обеспокоив пласты пыли удачным диагональным броском, я дерзким скептическим взглядом обвел большую комнату своей квартиры, и она напомнила мне обиталище чернокнижника со средневековой гравюры.

У меня было чувство первооткрывателя кровообращения, боявшегося за свое изобретение, объявленное инквизицией сугубой ересью (...)

У меня было меньше предрассудков, чем у остальных людей, но я больше в них упорствовал (...)

Меня звали Фома Неверующий, потому что я был единственным, кто запасал свои надежды впрок, а не расплачивался ими за каждый конкретный страх, испытанный перед лицом космического абсурда.

У меня совершенно не было настоящего времени. Я оперировал лишь взаимоисключающими конструкциями времени прошлого и времени будущего, с тех пор, как меня выписали из больницы. Потеряв настоящее время, я совершенно разучился мимикрировать, и бытие мое сделалось реверсивным, молниеносно катаясь вперед и назад, не умея стоять на месте.

Я хотел действий и происшествий, но их больше не было, я хотел слов, но вместо них были одни только многоточия.

Меня звали Фома Неверующий, ибо Фома – это не имя, это непреходящее состояние, при котором доверяют лишь лучу света и не верят тому, что он освещает (...)

Мгновенно впитав эти чувства и все их мыслимые проекции, я облизнул сухие губы и успокоился ввиду того, что непрошенные нагромождения мысли подоспели ко мне, когда я был на выдохе, и потому ничего не почувствовал.

В квартире было много пыли, что делало ее схожей с запасниками немодного музея. Элемент музейности придавали также стеллажи, заставленные заскорузлыми корешками старинных книг, которые почему-то сделались мне безразличны в эту секунду, что текла параллельно всем остальным и не заканчивалась. Я измывался над основными принципами прилизанного уюта и много лет назад оклеил стены большой комнаты зеленоватой бумагой с логарифмической сеткой вместо обоев. А грубовато-стильная мебель, доставшаяся по наследству, была расставлена по комнате безо всякой системы и разбрасывала логарифмические тени. Даже трудолюбивый паук в потолочных углах умудрился выткать безукоризненную логарифмическую паутину, очевидно, надеясь растрогать меня и заслужить право поддерживать сумбурный тон холостяцкой квартиры. Раздевшись с дороги, приняв холодный душ и заварив кофе, я принялся обживать свое обиталище, наводняя его следами уборки и жизнедеятельности. Жёсткая, ритмическая рок-музыка размяла суставы, оживила воинственные инстинкты. Я водил тряпкой по подоконнику, а душа моя носилась между римскими легионами, изрытая в бушующую пыль хриплые команды. Порабощенный чудовищным ритмом, я конвульсивно собрал в работу пылесос так, точно это была хитроумная осадная катапульта. Рваные джинсы будоражили сознание, будто смятые камнями и стрелами доспехи. Безудержная фантазия соло-гитары преобразилась в агонию убитого подо мною скакуна. Вакхические процедуры мгновенно прекратились, срезанные под корень, едва в самую гущу боя угодил

### § 3

телефонный звонок, электрическими трелями сыгравший сигнал к хладнокровному отступлению. Я выключил магнитофон.

– Алло.

– Фома? – вежливый голос аккуратно заполнил ушную раковину. Я запнулся, в смирении перебирая по иерархии знакомые имена, будто четки.

– Виктор?

– Ну, слава Богу, узнал. Богатым не буду. Ты давно приехал?

– Да нет, только что.

– Мне будто флюид передался, что ты уже в городе. Как здоровье?

– Как у новорожденного: все радости и микробы мои.

– Так что у тебя все-таки было, из писем я не уразумел? Что с тобой приключилось?

– Признаться, я тоже не понял. Говорят, обширный воспалительный процесс.

– И что у тебя воспалилось?

В зубах завяз пошлый помпезный афоризм, но я решил избежать нарочитости и ответил:

– Не знаю, – пожимая плечами так, словно Виктор мог видеть мое иллюстрированное сомнение.

– Что ты собираешься делать?

– Сибаритствовать и пить легкое сухое вино в твоём обществе. Приезжай. Только не забудь повязать на лицо марлевую повязку: я весь с головы до ног в стручках.

Виктор элегантно хохотнул, больше руководствуясь соображениями приличия в отношении выздоравливающего, нежели подлинной смехотворностью моих умственных утончений.

Вконец измотав всю квартирную пыль, я распластался на диване, возмечтав предаться гостеприимству, чтобы доказать бодрость духа. Я чувствовал, что перебрал свое тело заново.

«Тело есть наше общее средство иметь мир». [Морис Мерло-Понти.]

Виктор появился, однако, в самый неподходящий момент, когда я решил соорудить некое подобие стола. Стола не получилось, как, впрочем, и его подобия. Кроме бананового джема, печенья и обещанной бутылки сухого вина, не нашлось ничего. Пронзительный звонок в дверь вновь похитил меня у реальности и назревающего настоящего времени, ибо в глазах проворно заматались сгустки хмельных студенческих кутежей, и я уже открывал дверь Виктору с чувством неприятного саднящего осадка, который временами брал верх над всеми проявлениями дружбы и который являлся следствием нашей давней случайной ссоры из-за случайной же девицы, которая, впрочем, стала его любимой женой. Я был бездарен в дружбе, а неприятные мысли имели обыкновение весьма несподручно появляться у меня при резких телодвижениях, и потому искреннее радушие после критического срока разлуки не получилось. Мой друг, как всегда, ангелически улыбался, усердно вытирая ноги, будто отрывая их от своего прижизненного постаменты, и еще издалека протягивал руку для приятного сухого рукопожатия.

Тактичность Виктора, престапавшая всякие черты обыкновения, простиралась в некоторых речах его даже до комического буффонства. Мы были знакомы с шестилетнего возраста и, хотя по прихотям судьбы последние годы виделись не часто, отношения наши были насладительно-сентиментальны, и даже мой прогорклый цинизм ослушивался всякий раз, выходя из повиновения, стоило мне вспомнить о существовании друга. Виктор умудрялся жить безо всяких амбиций, без оголтелого очернительства в мгновения душевного оскудения. Он был, несомненно, тонко устроенным чувствительным человеком. Однако же, я никогда не видел, чтобы в нем было что-то наподобие бедлама страстей или чтобы его душевные порывы имели болезненные изломы, столь характерные для всей нашей эпохи. Он являл собой волевою единицу хитроумного устройства и, приручая нелегкие материальные обстоятельства своей жизни, он умудрился не растерять породистое выражение лица. В нем никогда не расцветали обиды, зависти было нечем поживиться в его душе.

Провожая гостя в комнату, я ударился ногой об останки старинного ремингтона, потехи ради вывезенного из Пергама одним малознакомым человеком. Я подал кофе в старинных фарфоровых чашках, входивших некогда в бабушкино приданое, и предложил Виктору первым начать разговор: мне не о чем было говорить. Долгие месяцы, завернутые в несвежий больничный халат, представились вдруг верхом пошлости.

– Я вижу, у тебя в доме все по-прежнему, – сказал он, комкая длинные пальцы, будто бы лишние числом. Обычно чтение по лицу человека дается мне легко, но сейчас я не знал, к какому времени мне окончательно пристроиться: то ли седлать воспоминания, то ли мчаться вперед, то ли незатейливо источать настоящее без веры в будущее и не вороша прошлого? Я всецело сосредоточился на открывании бутылки с вином, а высохшая пробка, неуживимая для штопора, добавила несколько унций беспокойства и мне.

– Собственно, я не знаю, с чего нужно начинать... Три дня назад я похоронил отца.

Я вряд ли удивлюсь, если в один прекрасный миг умрет весь земной шар, и потому, глядя из будущего на свою атональную реакцию на это сообщение, я не мог бы сказать, что известие о кончине Сергея Петровича потрясло меня до основания или что мне нечем стало дышать. Воздуха кругом было сколько угодно – только открывай рот шире. Кроме того, аптечный запах все еще преследовал меня. Но одно могу засвидетельствовать наверняка:

Многомесячная тишина так оглушила меня, что вот уже несколько часов, находясь в пестрой мешанине звуков многомиллионного города, я не отвлекся до сих пор еще ни на один характерный признак жизни цивилизации. Я был увлечен состояниями безжеланности и вневременности. И только сейчас правильное времятечение, обозначенное надсадным гулом автомобилей, островками человеческой речи, параллельными биениями сотен каблуков, внятно вернулось ко мне, приобщая к общественной жизни.

Пробка, не давшись штопору, искрошилась в прозрачную заводь марочного вина.

Часы пробили половину чего-то на фоне общего ожившего хаоса.

– Собственно, он не умер, он покончил с собой.

Я придвинулся к другу, поражаясь всем своим существом тону, с каковым Виктор оповестил меня об этом. Я слишком хорошо знал Сергея Петровича и не мог постичь внутреннюю структуру мысли, покрываемую этими нехитрыми словами. Покончить с собой могла абстрактная статистическая единица, либо выжившая из ума, либо выжившая из воли, некий абсолютный ноумен отчаяния (...) Но отец Виктора!

На мгновение я прислонился зачем-то к своему двуцветному будущему и едва не уронил его, но мой друг уже продолжал:

– Ты знаешь, отец, следуя вкусам времени, воспитал меня в атеистической манере, и, видимо, именно из-за этого я сам длительное время не воспринимал его кончину как нечто материальное. В ночь перед его самоубийством меня самого терзали никчемные финитные мысли, и когда я ложился спать, смысл уже начисто испарился из моей жизни. Я гнал себя в сон, памятуя о том, что утро вечера мудренее, но сон не награждал меня своим посещением. Однако рациональность всеобладала, и меня обволокли тяжелые сны, как вдруг был разбужен сильными щелчками у изголовья. Я включил свет. Ничего не обнаружилось. Вновь сомкнул очи, но ненадолго, потому что по всей квартире еще много раз раздавались легкие щелчки и треск, словно кто-то ходил по рассохшемуся паркету. Измаявшись вконец, я забылся очередным неудобным сном, но только днем, посмотрев на картину, висящую у меня над постелью, нашел ее перекошенной. Хотя, учитывая тяжелую резную дубовую раму, сделать это, даже одной рукой, представляет значительный труд. А я точно помню, что не касался ее несколько месяцев.

Виктор перевел дыхание, с каждым новым словом обретая уверенность, которая придавала ему следы выживания в особом пространстве, что связывает нас напрямую с конечностью бытия.

– Прости меня, Виктор, что начал разговор совершенно не так. Я ничего не знал об этом. Прости еще раз за нелепый вопрос, но... Я хотел спросить, отчего он...

И едва не дополнил: «Ведь он был совершенно нормальным человеком», – но вовремя осекся. Что значит норма в вопросах манипулирования собственной судьбой?

Виктор воззрился на меня с замысловатой горькой усмешкой, совершенно не шедшей к его ангелическому лицу, и, нанизывая слова на некий вектор умышленности, продолжал:

– Ты счастливый человек: ты не знаешь, что здесь сейчас происходит. Мне тоже сначала не верилось, что пустяки, которых мы с нетерпением ждали, могут явиться столь неожиданно быстро и произвести такой ошеломительный эффект.

Я продолжал выжидательно сжимать бутылку с вином, словно сидел в засаде и это был мой последний метательный снаряд. На улице как-то незначай взвизгнули тормоза.

– Видишь ли, Фома, я знал, что можно оскорбить человека словом, но никогда не думал, что человека можно буквально изуродовать словом, обезвожить. Мало того, совершенно разрушить. Причем изнутри, чтобы источник принудительного разрушения остался незамеченным и безнаказанным. Ты знаешь, мой отец был сильным человеком, сильным именно своим нутром, но его структура не выдержала нескольких слов, произнесенных принародно во весь голос. В материальной среде вера передается и насаждается словом. Когда вера исчезает, человек, подверженный идее этой веры, способен еще некоторое время самообманываться и генерировать обман в окружающую среду. Но когда на смену старым словам приходят новые страшные слова отрицания, то в человеке происходит нарушение целостной структуры и он должен структурироваться заново, либо погибнуть, не важно как: телесно, духовно, нравственно, эмоционально. Мой отец прошел все ступени этого скачкообразного нарушения внутренней структуры, и когда увидел, что внутреннее разложение под воздействием новых идеологических установок не вписывается более в человекосоразмерные пределы его нравственных понятий, покончил с собой. Он пал жертвой своей порядочности, которая есть всего лишь жесткая формула внутренней структуры человека. А слова, погубившие его, никому, в сущности, и не принадлежали.

Все услышанное, будь то смылосодержащие слова или отдельные звуки, привело меня в нравственное оупение. Я метался в поисках эталонных величин, с помощью которых мы измеряем окружающий мир, но банальные лекала, наспех собранные из затасканных «плохо» или «хорошо», как назло куда-то запропалились, и я совершенно не знал, как мне отреагировать на все услышанное (внутри – для себя, наружу – для своего собеседника). Я зачем-то вспомнил, что сад Мецената был построен на месте общих могил, куда бросали тела простолюдинов вместе с трупами павших животных и мусором, и, ощутив себя по горло в гряде зловонных отбросов, отставил, наконец, бутылку и откинулся всем телом назад в кресло.

Официальная идеология всегда побеждает только потому, что апеллирует не к уму, а к чувствам верноподданных.

– Прости, Фома, но в атмосфере повальной свободы слова не с кем стало говорить.

– Да, Виктор, все государственные конституции современности гарантируют свободу слова, и ни одна не гарантирует свободу мысли.

– Меня всегда радовала наша с тобой общность языка, слава Богу, что казенная койка не притупила способность к нетривиальному мышлению.

– Благодарю за комплимент, но все же я не совсем понял, что случилось с твоим отцом. В больнице было мало информации, кроме того, к печатному слову у меня всегда было специфическое отношение.

– Неужели ты ничего не заметил?

– Многое, но все же?

– Самое главное, нынче завелся очередной чудный лозунг: «Разрешено все, что не запрещено». Но ведь запрещать-то больше некому. Да и все нынешние мелкие административные запреты нужны только для этого самого «Разрешено». Помнишь пресловутое: «Если Бога нет, то все позволено»? Нынешняя логика твердит: «Пусть даже Бог есть, все равно все позволено». В создавшейся ситуации и официально признанный Бог не в состоянии что-либо изменить.

Волна какой-то неизобразимой бледности пробежала по лицу Виктора, импульсивно он придвинулся ближе, схватив меня за руку, и, пристально глядя отрешенно-восхищенным взором, почти крикнул в лицо, так что я отчетливо увидел траекторию каждого слова:

– Ты знаешь, ведь это был дух моего отца! Он метался, ты понимаешь, он бился в исступлении. Дух моего отца! И бился он потому, что молчал всю жизнь, молчал, как галерный раб, прикованный к скамье и веслу. С торжественной фатальностью отец влачил свою судьбу и в мгновение наивысшего отчаяния оборвал жизнь, не прощаясь с белым светом, которому был верен в тишейшей покорности. Он неистовствовал у моего изголовья, очевидно, стараясь пробудить и меня от всепокорности судьбе. Только сейчас я начинаю постигать смысл той кошмарной бессонной ночи. Отец кричал мне оттуда, что жил впустую, что отдал всю свою многострадальную жизнь в служение идеалам, которые, высосав веру и силы, отбросили его прочь. И он умолял меня не повторять его путь, не идти на поводу у пышных слов и красивых идей...

Тяжело дыша, Виктор оглянулся назад, буркнув куда-то в сторону:

– Прости и налеп лучше вина, а то становлюсь уже невменяемым. Ты не можешь себе представить, с чем пришлось столкнуться во время похорон. Иногда казалось, что я попал на открытый чемпионат мира по кощунствованию: сплошные взятки, идиотские квитанции, пьяные рожи каких-то государственных исчадий ада... Уже заговариваюсь. Я, наверное, смешон?

Он выпил стакан вина залпом, утопив голову в плечи, как будто так легче было поместиться в футляр нового опыта жизни.

– Виктор, мне трудно тебя понять, я не понимаю, о чем ты говоришь. Я твой друг и прекрасно знал Сергея Петровича, он был тихого, покойного нрава. Я высоко ценил и уважал его за рассудительность и тактичность, но никогда не наблюдал в нем даже оттенка метаний, о которых ты говоришь. Я много беседовал с ним, и он всегда отличался строгостью и выдержанностью суждений, это правда. Но никакой смыслоутраты в его высказываниях, никакой душевной паники не замечал. Ты что-то скрываешь.

Впоследствии не раз буду корить себя за эту чудовищную нравственную тупость, а сейчас посмотрел на себя со стороны...

*Фома Неверующий.*

Давным-давно, сделавшись именем нарицательным, я присвоил себе чин самого опасного пророка (!!!).

Виктору сейчас был необходим плацдарм для покорения бытия, и то движение, которое он осуществлял в пространстве, излучало пронзительный красный свет.

Ему не хватало самого себя.

Я созерцал все мыслимые оттенки этого конкретного красного цвета, голодным пламенем пожирающего сетчатку моих немигающих глаз, созерцал его как явление высшего кармического порядка, потому что «идеальное созерцание вносит в объект то, чего в нем нет». [Ф. Т. Фишер.]

Все поры моего существа забились от невиданной концентрации слов. Казалось, речи Виктора были набраны шрифтом более крупной гарнитуры и не вписывались в формат моего восприятия.

«Люди не понимают предложений, которых никогда ранее не слышали». [Готлиб Фреге.]

Я встал, подошел к письменному столу, наткнулся пальцами на блокнот, наполненный двуцветными следами моего существования, а также на несколько цветных фотографий, запечатлевших студенческие летние утехы в Коринфе, принял-ся бессмысленно ворошить прочие бумаги на столе, перелистал византийский технический журнал (...)

Наконец Виктор нарушил паузу тем, что встал из кресла и подошел к окну, как человек, не желающий быть увиденным снаружи. Он нервно потеребил край черно-зеленой шторы и, аккуратно выглядывая из окна, даже привстав на цыпочки, проговорил максимально обесцвеченным голосом:

– Подойди сюда и посмотри на улицу. Хочу, чтобы ты увидел новый атрибут нашей жизни.

Проведя многие месяцы в низком здании загородной больницы, расположенной, кроме того, во впадине, я совершенно отвык от столичных видов, открывающихся с высоты седьмого этажа, и потому ощутил некоторую хмельную неуверенность в ногах, будто все увиденное набросилось на меня, толкая в грудь перспективами улиц, светлыми густками зернистой людской массы, плоскими пенами автомобилей и фонтанами одинаковых городских деревьев.

– Ну... – продолжал Виктор, – посмотри на вывески.

Вывесок и впрямь стало больше. Я помнил старую городскую площадь <i>до</i> болезни, единственную в своей ветхозаветной неповторимости, а сейчас удалые неоновые надписи бежали по ней вкривь и вкось, предлагая услуги, яства и путешествия, суля прибыли и агитируя куда-то вступать. Чашки с кофе перепутались с обрубками ног в натянутых чулках. Подмигивающие респектабельные мужи слились с названиями рекламных агентств. И только мутное стекло, сквозь которое я взирал на все это красочное представление, даровало мне благоразумную непричастность стороннего наблюдателя.

– Внизу на площади, на противоположной стороне, между ювелирным магазином и «Обществом защиты домашних животных» видишь вывеску?..

Уголки моего рта произвольно дёрнулись, натягиваясь на небольшую благопристойную улыбку.

## **ЭТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ**

!!!!!!.....

Я

### § 4

ходил по периметру комнаты, поглаживая логарифмическую сетку обоев, и тщетно силился систематизировать неразбериху, которую натворил во мне Виктор своим ангельским лицом и известием о самоубийстве отца.

... выглядываю в окно, как в бойницу в последний день осады, и вижу, что между многими каратами витринных ювелирных украшений и симпатичными мордочками одомашненных тварей светится едкая, будто йодом намазанная, надпись

### **ЭТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ**

(???)

Мы расстались с Виктором. Прощание было коротким и сдержанным. Во мне уже окончательно установилось прогорклое неверие, которое бывает столь же опасным, как и суеверие, ибо суеверие обманывает, а неверие обкрадывает.

Мои нервные волокна сжались. Тромбы забились все настоящее время, не давая ему ровно протекать из будущего в прошлое. От истощения причинно-следственных связей началось нечто наподобие бессознательной церебрации, и, лишившись вектора времени, пространство дополнилось новыми измерениями, в одном из которых я натолкнулся на...

... оно имело вполне конкретный объем, так что я не мог обойти его в своем просторном коридоре. Оно давило мне на грудь при каждом приближении и обжигало лицо легким дыханием, будто меха, наполненные горячим воздухом. С этими волнообразными движениями возник образ, а затем родилось слово, без остатка покрывшее его.

В воздухе висело  
Желание,

но желающего уже не было. Он распрощался со мною минут несколько назад. Это было початое желание, но без желающего. Оно потеряло будущее, а прошлое его вырождалось у меня на глазах. Упругие пневматические движения становились все слабее, пока эта живая брешь в пространстве не заросла окончательно и коридор не сделался проходимым.

Если нет желаний – нет будущего. А если нет будущего, нет нужды в прошлом, потому что прошлое – это всегда та основа, тот трамплин, с которого мы стремимся к будущему. Если будущего нет, если вы знаете, что в этот самый миг вы умираете, что сейчас вы умрете, то незачем вспоминать прошлое. Незачем вспоминать даже свое имя, потому что в имени есть смысл только тогда, когда есть будущее. Но если будущего нет, вы просто сжигаете все мосты к прошлому. В них нет нужды.

Теперь мне ничего не оставалось больше, как перечитать заново «Рассказ о Сергее Петровиче» Леонида Андреева. Обоих постигла одна и та же участь: персонаж рассказа и отец Виктора, имея одно и то же имя, подверглись духовному разрушению под воздействием сверхидеи и, осознав свою никчемность перед нею, были вынуждены покончить с собой. Бумажное учение о сверхчеловеке Фридриха Ницше уничтожило маленького человека на бумаге. А бумажное надругательство над сверхидеей всеобщих Свободы, Равенства и Братства, которой оченьлегко отдали на заклятие несколько десятков миллионов жизней, уничтожило отца моего друга (...)

Мне повезло: я родился значительно позже, и иммунитет к Словам помог мне выжить, хотя война сверхидей не обошла и меня. Я инвалид общественной мечты о светлом будущем. Меня вместе с миллионами сверстников просто одолжили будущему.

Инвалид имеет полное моральное право на свои условия игры, и потому я занимаюсь лингвистическим браконьерством, понемногу выкапывая отдельные слова из бытия и присваивая их себе. Мои слова не смогут меня изуродовать или убить.

Время салонных поэтов, утонченных обитателей башен из слоновой кости безвозвратно миновало. Воспетые ими идеалы истощило время, и разлагающиеся трупы этих идеалов валяются повсюду.

Я же поэт новой эпохи и с благоустроенных поэтических высот трепетного воображения перебрался в бетонированный бункер подземелья, откуда веду подкоп под человечество интенсивно и напряженно (...)

Нация, не имеющая пророков, обречена на вымирание, ибо пророки – это иммунитет нации. Идеальная конспирация – отличительное свойство современных пророков.

Я, Фома Неверующий, прорицаю новый пафос мышления о будущем без утопий, без веры в заданную и движущую вперед закономерность прогресса, веру в сущностную незавершенность, открытость человека, устремленную в героическое волю, как она проявляется в своих великих возможностях, без гарантий примирения, страстное стремление к тому, чтобы открыть подлинную действительность жизни и встретить ситуацию человека в мире без прикрас.

Я читал рассказ великого писателя и все больше приходил к убеждению, что это истинное несчастье современной цивилизации – быть в неразумной кабале у Слова. Я насыщался гадкими фантазиями, не имеющими ни малейшего отношения к канве произведения и к истории отца моего друга. Меня одолевали причудливые видения вроде фотографий женщины с любовником-карликом на фоне кровавых оползней заката (...)

Пошлость – это средство сокращения умоемких мыслительных операций.

А моя совесть – это грандиозное сооружение, в котором помещается целых шесть букв с мягким знаком в придачу (...)

Я жил в чудесное время войны супериدهй, которые, соударяясь друг с другом, оставляли вокруг себя миллионы изуродованных людей и вещей. Даже единожды достигнутый неким Словом, человек становился неполноценным.

Я жил в эпоху разложения отвлеченных понятий, и потому красочные рассуждения об апокалипсисе казались мне фрагментом детской вечерней передачи для улучшения качества сна, а трагические повествования историков о кончинах цивилизаций вызывали смехотворные спазмы. Гипотезы, одна страшнее другой, кочевали со страниц иллюстрированных журналов в ученые доклады ветхих академических мужей. Цензура и статистика вконец запугали несмышленных обывателей картинами непостижимых страданий, посылая, будто пеплом, общие места вселенского краха вереницами цифр сопроводительной информации...

...Продолжая читать рассказ, я перевернулся на другой бок и сладко зевнул.

Мир просто превратится в Слово, из которого он вышел. А это Слово вновь заберет себе Бог, и это будет вовсе не страшно. Отныне только Слова становятся символами эпохи.

Из-за жонглирования Словами гибнут миллионы людей. Употребление тезиса, помещающегося в одной-двух строчках на грязной дешевой бумаге, имеет последствия ядерной катастрофы.

Самое совершенное оружие – ничто по сравнению со Словом, и потому силен лишь тот, кто находит его в нужный момент. Одно единственное Слово повергает в неописуемый трепет цивилизации, уродует и отравляет будущее целых поколений, перекраивает географические карты, изменяет ход всей мировой истории. Одно Слово изменяет религию, нравственные устои, быт и мечты миллиардов людей. Во имя Слова люди совершают великие подвиги и неслыханные святотатства.

Можно предсказать и смоделировать последствия любой, даже самой опустошительной войны, но нельзя предсказать и хотя бы приблизительно постичь последствия одного брошенного в мир Слова. Потому и воздействие его почти абсолютно и безгранично, как и само это всеильное и такое доступное...

... Слово.



Однажды китайский князь Дин-гун обратился к Конфуцию с вопросом: «Существует ли одно такое Слово, которое может обеспечить процветание государству?»

Теперь я ищу это Слово. Временами мне кажется, что уже поймал его на язык, но всякий раз оно ускользало, делая меня разочарованным, но не побежденным.

«Не теряем ли мы значения слова от того, что не вооружены правилами всех возможных его применений?». [Людвиг Витгенштейн.]

Упасть в горнило внутренней трансформации можно, случайно соударившись с одним Словом, попав в обычную ситуацию, когда невозможно миновать время, не задев его. Так вышло и со мной (...)

Одним солнечным утром, которое ничем, кроме безудержного света, не отличалось от иных, к нам в дом набилась тьма родственников и знакомых, объединенных одним малосущественным событием, шестилетием маленького Фомы. Доступные взрослому воображению игрушки собрались тогда возле моих восторженных глаз, тираня их пронзительный блеск обилием военно-технических приспособлений. Ничто не предвещало маленькой игрушечной беды, попавшей в мягкое детское воображение сквозь снайперский прицел яркого дня. Вороватое время стерло отпечатки пальцев с моей судьбы, когда все уже было сделано, и я совершенно не запомнил человека, выскочившего из-за нагромождения спин и подарившего...

... дешевенький блокнот в футляре с двуцветным сине-красным карандашом. Гнетомый природной скупостью, он ткнул мне в грудь футляра, словно хотел начинить меня его содержанием.

Я жалею всю жизнь...

... Боже праведный, как я жалею, что никогда не смогу, преданно глядя в глаза, поцеловать руку тому скупцу, что сделал меня неслыханно богатым. Все дары и искушения бытия утеряли смысл, соскользнули с чаши весов. В тот день наступления седьмого года жизни я отчетливо понял, что мир имеет только два цвета и что его можно описать и раскрасить двумя концами карандаша. Весь проходящий сквозь меня мир очень просто делился на две половины. Я бережно открыл блокнот и на чистом белом листе принялся корявым неокрепшим почерком записывать в столбик с левой стороны красные слова, которые казались мне отсутствующими в окружающем пространстве. А справа, параллельно им, я записывал синие слова, которые считал лишними и отталкивающими.

В этом возрасте я мог лишь записывать отдельные слова, не умея соединять их в осмысленные фразы. Совершенно бессознательно все мои детские желания стали излучать пронзительный красный цвет, а отвращение выкрасилось в синий.

Мне казалось, что, будучи написанным, слово, обозначающее конкретную вещь, быстрее притянет ее ко мне, или, напротив, оттолкнет.

Я обозначил это явление в моей жизни как безоговорочное озарение и продолжал с поэтической настойчивостью последнего человека на Земле вести стереодневник, в две колонки слов (!!!)

Настойчиво продираясь сквозь сине-красные дебри времени, я искал Слово, покорив которое, смог бы покорить мир...

... а пока...

Я забираюсь в свой блокнот, как в капюшон, спасаясь от непогоды и укрываясь от проливных потоков идеологического ненастья, и делаю себе спасительные инъекции остро отточенным карандашом, вписывая под кожу слова, которых алчу или дичусь, чтобы повысить иммунитет.

В 375 году «домашняя аптечка» Епифания Саламинского предлагала «лекарства» от 156 «зловредных» учений. На сегодняшний день, полагаю, мое средство наиболее эффективно для всех, кто хочет изведать целительного неверия (...)

Хожу по коридору, оклеенному фракийскими моющимися обоями, взад и вперед. Размахиваю растопыренными руками слепца, шарю носком домашней туфли и сейчас вот-вот наткнусь на массивное основание остывающего Желания, но...

ничего нет. Отряхиваю руку после прощального рукопожатия Виктора, подушечками мизинцев проверяю ушные раковины, нет ли в них грязного осадка от траурных слов прощания, и с пронзительным взором египетской царицы устремляюсь на штурм гардероба. Костюм из серой полосатой парфянской шерсти, мягкие македонские мокасины, цветастый галстук из государства Вэй, легкая сорочка из Эпира. Дорогие одежды на невзрачном теле, бесцветные глаза поверх дюжины красных слов, которыми я буквально прожег блокнот.

Едва не забыл завести часы, сбившиеся с торного пути времени. Неразборчиво деятельный маятник восстановил во мне сенсорный баланс. Придерживаю лацканы, словно бы отрывающиеся под тяжестью краденых орденов. В таком костюме уместнее всего увещевать Джордано Бруно, отгораживаясь прозрачной ладонью от спесивых языков пламени, и кричать поверх бритых голов палачей «Отрекись!»

Чуть не отдавив бородку ключа входной дверью, покидаю жилище. Бесполое солнце по-детски плющит лицо о стекло, разглядывая меня, а деревянные перила едва не набиваются под ногти. И я вижу то, что видел на протяжении всей своей жизни.

Оно так умело построено, что, находясь в любой точке своего Дома, я неминуемо увижу его. Находясь на соседнем балконе или жмурясь от солнца в подъезде, ходя из квартиры в квартиру, не видя ни лиц обитателей, ни самих стен и дверей, я всегда натываюсь глазами на это гигантское сооружение, кажется, сорвавшееся с кошмарного авангардистского полотна и упавшее в самую середину города. Излучая почти мистическое величие, оно не имеет ни формы, ни даже характерных очертаний. Сколько помню себя, блуждающим ли в зарослях материнских всепрощающих рук, с утопающим ли в облаках беспечным лицом, кутающимся ли в первый несмышленный юношеский сплин, я представлял себя на фоне этого

гигантского строения, которого никогда не видел законченным. Говорят, что оно существует столько же лет, сколько и само государство. Я говорю «Оно», потому что не представляю, чем это мыслилось изначально и во что ему суждено воплотиться.

Оно – это всего лишь гигантские строительные леса, за которыми не видно ничего, кроме неряшливых атрибутов нескончаемой стройки, вознесшейся на центральной площади города на многие десятки метров вверх и простирающейся на сотни метров по периметру. Судя по всему, это должно быть нечто величественное, эпохальное, несущееся к небесам, но...

... так ли это, судить не берусь как человек, не видевший чертежей этого замысла. Впрочем, продираясь глазами сквозь деревянные щиты, я разглядывал дорогие облицовочные материалы: звенящую на солнце позолоту, эфемерно-голубые полотнища идеально гладких стекол, дышащих в руках строителей. Ночное бархатистое небо отступало чудотворной тьмой, обеспокоенное истерическими всполохами электрической сварки. Немыслимые звуки доносились из средостения миллионов жестких перекрестий балок, хищно пугая влюбленные пары и одиноких владельцев породистых собак. Близкое нахождение рядом с глухим дощатым забором строительства производило сверхъестественное ощущение, по силе сравнимое разве что с посещением Божьего храма, но по эффекту ему прямо противоположное. Ибо, если посетитель храма под гигантскими сводами, нагнетающими бесконечность перспективы, ежемгновенно осознавал внутреннее единство с Абсолютом, то посетитель окрестностей строительства, постоянно озираясь по сторонам, дабы не замарать обувь и одежду, ощущал свою неприкаянность. Я часто проходил мимо, жмурясь и выше поднимая воротник, чтобы охранить себя от потоков строительного мусора. Синими словами наполнялся тогда мой терпеливый блокнот.

Суммируя все сплетни, домыслы и многочисленные официальные точки зрения, я пришел к выводу, что строение это, должно быть, величественный символ нашей революционной эпохи, монумент грандиозной идее, памятник времени. Но вся беда революционного времени заключалась в том, что символ менялся гораздо чаще, чем его удавалось воплотить. Трактовка символа менялась, и готовые конструкции приходилось разрушать, не достроив. Кроме того, все жизненно важные коммуникации старого города проходили под площадью как раз в том месте, где водружался монумент, и потому каждый раз строители принуждены были нарушать нормальное жизнеобеспечение целых районов города. Мне неоднократно приходилось принимать ванну, когда неожиданно прекращала течь горячая вода или, напротив, ошпариваться от отсутствия холодной. Как-то я провалил экзамен из-за того, что накануне в доме не было света. Во всей округе регулярно менялись номера телефонов, точно в дьявольской чехарде, и я чувствовал себя неловко, не имея при себе телефонную книжку. Ущербу со стороны строителей подвергались и все прочие виды связи, неговоря уже о том, что закрытые подъездные пути к площади весьма отрицательно сказывались на деятельности муниципального транспорта, и опоздания всегда были простительны. Люди, имеющие склонность к лени, часто выбрасывают мусор на стройку, а баталии бездомных собак и кошек – обычное явление в вечерние часы.

Но мое защитное Неверие нашептало мне, что если чего-то нет, всегда старайся выяснить не то, почему этого нет, а то, кому выгодно, чтобы этого не было, так как причин в этом мире всегда меньше, чем следствий.

Выбегая из подъезда, я увидел множество людей в оранжевых строительных касках и полусогбенных подобострастных позах, покрывших почти всю землю на строительстве. Между спинами, будто штандарты некоей хитроумной рати, виднелись геодезические приборы. А один из людей в брюках, изрядно перепачканных на коленях, выкрикивал цифры, выглядывая из-за выцветших панелей, и размахивал отвесом, будто кадиллом, целясь в самую сердцевину Земли.

Я крикнул так, что крик мой пробным шаром прокатился по спинам людей, сбивая оранжевые каски:

– Что вы здесь делаете?

## § 5

– Середину, – был мне машинальный ответ, выданный деловитым шепотом прямо в грязь, и ни одна голова не обратилась ко мне. Круглолицая хохотунья в красной юбке и рваных черных чулках, кокетливо вихляя бедрами и встряхивая рыжими, фиолетовыми и зелеными прядями крашенных волос, картинно расставила ноги, словно середина должна была вот-вот уйти из-под нее, и сказала:

– Привет, Фома, давно тебя не было видно. Эким ты сегодня франтом!

– Здравствуй, Нинон, рад видеть твое румяное личико на этой выставке уродов. Скажи мне, милая, что нового под нашей звездой?

– Цветаста чертовщина и словоблудие, так что на ушах кровавые мозоли, но...

Ее перебила группа молодых людей экзотической наружности, сопровождавшаяся неистовыми ритмами, доносившимися из магнитофона, водруженного на разрисованной губной помадой гнилой остов автомобиля.

Меня хлопали по плечам и ушам, дергали за галстук, целовали в щеки и обнимали, залезали в карманы и набивали голову всякой занятой городской всячиной. От обилия жаргонных словечек, произнесенных с замысловатыми интонациями, губы размялись в тугую улыбку, готовую сорвать кожу с лица. В воздухе вкусно запахло ересью. Чудные политические анекдоты едва не сорвали с меня защитную строгость. Но, нащупав во внутреннем кармане пиджака футлярчик с блокнотом, я нашел возможным ответить столь же экспрессивно всей окружавшей меня развязной братии. Взобравшись на разрытые остатки месопотамского автомобиля, возложив стопу на пульсирующий от звуковой перегрузки магнитофон и слегка подтянув брюки на полусогнутых ногах, я громко кричал, обшаривая руками отполированный солнцем горизонт и пугая проходящих обывателей.

– Люди, вещий дух Неверующего Фомы вновь посетил вас, дабы укрепить вашу веру в себя! Новый пророк, человек эпохи рок проник в ваши выцветшие желания. Пророк реванша и оздоровления вселился в ваши самые смелые мысли. Фома зовет вас вконец извериться и таким образом обрести новую веру, избавиться от обузы пустых слов и деспотии ненужных принципов, не приносить свои человеческие ценности и страсти в жертву абстрактным понятиям. Оглянитесь на

себя! Посмотрите, какими жалкими и немочными вы стали, обложившись словами! Сорвите с себя коросту обобществленной мечты, которой вас закармливают с малолетства так, что вы боитесь быть дерзкими и властными. Пусть на прежнем месте вырастет свежее здоровое мясо плоти, способной ко всей гамме человеческих ощущений. От морали абстрактных слов – к морали конкретного тела, истомившегося по ощущениям. Переступите через себя! Переступите через все, что мешает вам быть собой, и вы станете этой мечтой сегодня. Назло самой мечте, которая думает, что она неуязвима!

Под общий гвалт, аплодисменты и улюлюканье я спустился с ржавого шутовского постамента, поймав искрометное веселье и даже один цветок пронзительно красного цвета. Старательно оттерев губную помаду со своих щек, пару раз ущипнув пестрые надушенные вороха ситца, я торжественно пообещал навестить присутствующих в самое ближайшее время, отвесил поясные поклоны всем окружающим и, оборвав с ближайшей стены дома рекламу какого-то зубопротезного предприятия, пошел прочь...

Спустя полчаса, я рассматривал другой угол дома, разбирая по буквам название улицы, на которой некогда находилось заведение, где я числился служащим. Название изменилось, хотя раньше легче могла измениться сама улица, но никак не ее название. Продавец лотерейных билетов с одним носом вместо лица поведал мне, что имя собственное, определенное в качестве названия, выкрошилось из букв от времени и его заменили на другое.

– А что будет, если устареет и новое название? – спросил я, ища в карманах мелочь.

– Будут менять до тех пор, пока не кончатся названия, но безымянности не сдадимся, – протягивая билет, ответил нос. – Желаю вам выиграть название любимой вещи.

Плутая глазами в рекламных щитах, спотыкаясь о всякую всячину, недоступную человеку, испытывавшему полную атрофию бдительности, я добрался до массивного здания с вытертыми от послужной суеты колоннами.

Для того, чтобы определить прочность предмета, нужно его сломать.

Чем сломать слово?

Поклоняясь чиновничьим правилам, ищу свое имя в списках обреченных, перебираю цифры диковинных законов, в прожорливое чрево которых меня занесло. Бьюсь в конвульсиях административных разъяснений...

... в моей душе нет ничего, кроме горсти знаков препинания.

#### МЕНЯ СОКРАТИЛИ.

Я посмотрел на свое отражение, сокращенное по мановению административного кровопускания и лишенное рабства, гарантированного законом.

«Техника и эмпирика вообще содействуют организации нашего недостатка». [Мартин Хайдеггер.]

Современные статистические агентства грамотно и квалифицированно объясняют мне, почему я задыхаюсь, бледнею и не могу удовлетворить любую, пусть даже мизерную, человеческую страсть. Историческая наука скрупулезно поведает мне социальные и экономические перверсии отцов, схватившие меня за горло. Психология и невольничья идеология объясняют, почему небо надо мной пусто и почему в народе, кривя лицо в злорадной ухмылке, меня зовут Фома Неверующий, а легионы вражеских синих слов проштампуют латинскими названиями набежавшие комплексы неполноценности.

Я вылью свою кровь в емкую горсть неистового желания и выцарапаю из окружающего мира все красные краски, потому что не хочу никаких разъяснений от человечества.

Я хочу, и мое кровоточащее желание – основной закон бытия, мой Бог, мой кумир, мой удел.

Каждый живет в мире собственного изготовления...

... тут я выпал из мысли и, просачиваясь между колонн здания на волю, оставил на затертых камнях синюю надпись:

#### ЗДЕСЬ БЫЛ ФОМА НЕВЕРУЮЩИЙ.

Время обитателей башен из слоновой кости безвозвратно прошло, мечтателей переселили в грязный подвал, но работы в области мысли ведутся с прежней интенсивностью.

Я веду подкоп под человечество, и сегодня, 1 июня 1992 года, в центральную штольню под его нравственные устои заложен основной пиротехнический заряд моего Неверия.

«Отвага быть коренится в Боге, который проявляется, когда Бог исчез в беспокойстве сомнения». [Пауль Тиллих.]

Изобретение это – бескомпромиссный вызов бытию, и потому изобретаю себя заново в каждом жесте и в каждой мысли.

Я живу по закону параллелограмма сил. Если хочешь чего-то достичь в будущем, не трать настоящее на то, чтобы бросать камни в прошлое, каким бы отвратительным и гадким оно тебе ни казалось. Твои суждения – радость твоих врагов, твои действия – их зависть. Действие возвышает человека даже тогда, когда оно бессмысленно, ибо человек создан не для готового результата, а для его достижения.

Быть неудачником – величайшее генетическое преступление перед человечеством.

«Только потому, что мы активные существа, наш мир больше, чем содержание нашего актуального опыта». [Кларенс Ирвинг Льюис.]

Жизнь моего поколения – это подробное руководство по уничтожению времени и цели жизни любого биологического организма.

Добрые люди одолжили меня светлому будущему, и теперь я не знаю, как мне вернуться назад в настоящее, не будучи названным анархистом, диссидентом или сотрясателем устоев.

Добрые люди.

Никто не проливал столько крови, как именно эти добрые кампанеллы и моры, обещающие светлое будущее.

Я люблю спать спиной к портретам предков, не спорю с ними и не вопрошаю их ни о чем. Для них легче вынести десятилетия концентрационных лагерей, чем просмотр одного порнографического фильма. Наглядные примеры показывают, что во втором случае их нравственные чувства страдают неизмеримо больше. Они негодуют при виде животворящего фаллоса – прародителя мира, но никак не при делении мира на рабов и палачей, когда изуродованных людей, оставшихся в живых, плетью гонят к Счастью и, бросив там, забывают. Это коренное различие наших поколений. Остальное – худосочные следствия. Ненавидеть вас – значит давать вам силы. Вас нужно просто пропустить сквозь пальцы.

«Каждый дьявол кажется самому себе человеком». [Эммануил Сведенборг.]

Я, Фома Неверующий, рождаюсь всякий раз, когда концентрация смертоносных мифов на душу населения достигает критической летальной дозы.

Я пробиваюсь сквозь массивы магнетических мыслей, монтирую внутренний мир, нахожусь в постоянном диалоговом режиме с собственным потоком сознания, формирую новые языки для общения с каждой группой настроений, дожевываю окончания фраз, всецело отдаваясь совершенно неадекватным зрительным образам. Все вместе это называется – новейшая эпоха.

«Рецепт нового миропонимания таков: подставляйте на место объектов данные». [Джон Дьюи.]

Растертый зноом, точно темпераментной массажисткой, я приблизился к кладбищу, что облепило основание старинного монастыря. Здесь лежат предки, укрытые не ухоженными мною надгробными плитами. Чудное место. Все мое детство хоронилось за узкими бойницами, и если бы не было этих монастырских стен, я не знал бы, что такое стены. Сиятельный князь и столоначальник, купец первой гильдии и кавалер ордена «За веру и верность», невинное дитя с хорошей родословной и витые ограды, рыдающие нимфы, распятые Христы. А рядом, прибившись к проходкам грудой необтесанных гранитных глыб, лежат те, кто восстал против всего этого. Ревнителю веры здесь перемешаны с теми, кто эту веру погубил. Наверное, еще тогда, в далеком детстве, трогая неразборчивыми мягкими пальчиками это умершее каменное единоробство, я заразился каноническим Неверием. Изучая архитектурные таинства лепных украшений и вытирая пыль с позлащенных мозаичных нимбов в углублениях часовен, я придумал ему такие вычурные очертания. К краснокаменному монастырю, будто настырное отражение, пристроен крематорий тюремно-серого цвета, кажущийся синим в последних лучах заката. В центре монастыря православная церковь. Посередине крематория печь для превращения бессмертных душ в кучку пепла, урны с которым хранятся здесь же, в огромных каменных сотах колумбариев. И мое детское беззащитное воображение навсегда заразилось Неверием. Что же делать: я появился на свет под шум обещаний светлого будущего, от которого мне уже, верно, не скрыться.

В этой тишайшей обители уши мои вдруг нащупали признаки никак не ветхой набожной жизни. Сочные удары рок-н-рола дробились о пыльные плиты и кружились меж крестов, точно нечистая сила. Удары лопат, женский хохот, звон бутылей, прочая неухоженная акустическая суета. Отгоняя от лица набегающие ветви, послушной мошкой лечу на разstreпанные огни языческого действия, пульсирующего в самой гуще захоронений...

Скатился с ограды, переступил через скамейку и, провалившись туфлей в хлюпающий венок, почти выбежал, уткнувшись носом в свежую яму и холодные искры сытого костра. Грязные руки вознеслись над ямой и поднесли к моему лицу череп. Отпрянув назад, я столкнулся с огромным человеком, держащим в одной руке саперную лопатку, а в другой – початую бутылку с вином. Распрямившись, сдирая с ноги гнилые стебли венка, и опять наступив на что-то, я почти упал на грудь этого великана в кожаных черных одеждах, давась винно-табачным запахом.

– Эй, парень, уж не архангел ли ты? – крикнул детина, ткнув меня бутылкой в грудь так, что горячие капли красного вина веером промчались по моему лицу. Изуверский бесполоый хохот набросился на меня со всех сторон.

– Ну, брат, прости, но если ты и впрямь архангел, то я на твоём месте уже давно привык бы к святотатству и махнул бы на все рукой! – перебивая осклизлые гортанные спазмы, гаркнул детина и толкнул меня рукояткой лопатки, так что я упал на свежую кучу земли прямо к длинным точеным девичьим ногам. Задев ресницами за чулок, я уперся локтем в сырую глину и, улыбнувшись, спросил нарочито канцелярским голосом:

– Что вы здесь делаете?

– Кошунствуем, – вылили на меня сверху пунцово-пухлые губы, и, потеряв внутренней стороной колена мою щеку, девица обратила к сине-красному закату самовлюбленный смех, мгновенно оседлавший купола церкви. Я поправил на ее ноге серебряный браслет, чтобы можно было лучше разглядеть чудной египетский орнамент.

– Замолчи, – цокнув языком, как кнутовищем, сказал другой мужчина лет тридцати с каким-то почти берестяным лицом. Вылезая из ямы, он подхватил череп под мышку и, крайне сосредоточенно рассматривая меня, добавил:

– Восстанавливаем историческую справедливость.

– Да, а вы знаете, что это такое?

– Историческая справедливость – это торжество и без того торжествующей черни.

– А где вы возьмете канон истории, согласно которому будете замерять эту самую пресловутую справедливость? Я так понимаю, что вы орудуете заступом среди могил, не имеющих крестов, руководствуясь совсем не метафизическими соображениями.

Вставая с земли, поправляю волосы, галстук и подаю девице самый благопристойный из сгнивших цветков. Она послушно принимает его, выкатив поверх нижней тугой -губы два верхних передних зуба.

– А «канон истории может быть только сам историк». [Фрэнсис Герберт Брэдли.]

– Допустим, но как, по-вашему, люди восстанавливали историческую справедливость, когда истории в прямом смысле этого слова еще не было? Когда еще никто ничего не успел натворить? Что возникло раньше: история или справедливость?

– Семен! Нет, ну ты посмотри, какие филантропы ночью разгуливают по кладбищам! – человек с черепом под мышкой обратился к притихшему громиле.

– Иван, – уставилась на меня грязная ладонь, развернутая, как пропуск в преисподнюю.  
– Фома, – отвечаю, наклонив голову, и жду.  
– Варвара, – произносит экзотическая девица, выплывающая из-за вечерних набросков природы и гробниц. Синий макияж чудесно гармонирует с чулками, один из которых клубничного, а другой вишневого цвета. Множество погребушечных украшений на шее, запястьях, в ушах бережат мое воображение, отчего дважды отчетливо щелкаю каблуками.  
– Фома Неверующий! Ну, а вы, сударь, стало быть, второй могильщик?  
– Антимогильщик, точнее потрошитель могил, и антиисторик, – язвит кряжистый Иван, крутя череп, насаженный глазницей на свой веретенообразный палец. – А Неверующий – это фамилия?  
– Нет, моя фамилия Рокотов, а Неверующий – это исторически сложившееся занятие.  
– В таком случае, Иван Растопчин, инженер-вертопрах. Вот это чудище – Семен Рахов. Ну, а это гиперсексуальное создание фамилии не имеет.  
– Я ведьма, – говорит с томным придыханием Варвара, взбивая левой рукой длинные белокурые волосы, выворачивая сочные губы и выпячивая аксиоматичную

## § 6

грудь.

– Отличная компания у нас подобралась, клянусь гнилыми костями ответственного деятеля государства. Теперь нужно залить наше знакомство вином по самые уши.

Мы пили и бросали бумажные стаканчики в загрузившее пламя, обшарившее всю надгробную надпись в поисках пищи и, не найдя ничего достойного, слизнувшее помпезную позолоту. Размахивали руками, искрили глазами, тасовали нехитрые изъезженные остроты, дразнили возбужденное воронье, забрасывая комья земли на крепостные башни. Наконец, вдосталь нахлопотавшийся магнитофон выплюнул изможденную кассету.

– Ну, будет, пора и честь знать, господа-товарищи мертвецы. Благодарю вас за роскошный прием! В следующий раз мы придем навестить других. Готовьте подарки и речи, слово будет предоставлено всем. У нас ведь теперь... Как его, бе-са?.. Плюрализм мнений. Вот.

Иван грациозно жестикулировал, взывая к усопшим, дарительно водил рукой и под конец выдал антраша, поскользнувшись на малахитовой плесени надгробных плит, вделанных в откосы фундамента полуразрушенной церкви.

– Ну, а в общем, дорогой мой Фома, все, конечно же, не так просто. Она ведь права: мы кощунствуем. Но мы кощунствуем потому, что не кощунствовать уже не можем, – говорил Иван, вульгарно прижав к себе Варвару, взирающую на мир безразличными осовевшими глазами. – Кощунство это, прежде всего, очистительное действие, это необходимая дезинфекция души, загрязненной различными идейными установками. Преступность – это здоровая реакция нормальных людей на нездоровые явления в обществе. Но ведь кощунство – это то же самое: это активная здоровая реакция нормальных людей на нездоровые явления в этической жизни общества. Темам преступности, неврозов и патологии посвящено огромное количество научных исследований, но научной проработкой кощунств толком не занимался еще никто. Ведь не всякий может себе позволить такую роскошь: менять веру в течение жизни неоднократно. Вера только одна, и именно относительно этой веры все остальное – кощунство. Тот, кто взрывал церкви и уничтожал миллионы людей, не имеет права спокойно лежать в земле. Земля тебе пухом... Ишь ты... Земля тебе колом! Кощунство можно выбить только кощунством.

Иван фиглярничал, корча гримасы невыразительным лицом, брызжа хмельной слюной и кривя сильные пальцы.

– Ты хочешь перегнуть, чтобы выпрямить? – вставил я.

Он повалился на колени, выронив магнитофон, и прокряхтел, сатанея, как герой плохо нарисованных комиксов:

– Я не хочу быть ареной испытаний на прочность! Не хочу быть резиновой куклой, на которой молодые смазливые медсестры учатся делать первые уколы ржавыми учебными шприцами. Я плевать хотел на законы, которые меняются как отечные лица в кошмарном сне. И каждый их этих законов может меня смять, искрошить, стереть с лица земли или, самое страшное, просто назвать последствием волевой ошибки.

– Встань с колен. Ты прав, проблемой кощунства никто толком не занимался, но только потому, что кощунство не есть нечто, изобретенное человеком. Кощунство заложено в самой природе и надежности некоторых материальных связей. Я в детстве слыл восприимчивым и очень любопытным ребенком, и вот куда занесло мое любопытство. Однажды на уроке зоологии я видел замечательный документальный фильм. В нем показывали различные совсем безобидные опыты над животными. Их не резали, не подвергали болезнетворным экспериментам, связанным с физическим выживанием. Тем страшнее было то, что я увидел. Это был опыт с новорожденными цыплятами, которые слепо следуют за первым в их жизни движущимся объектом – курицей. Когда курицу подменяли другим животным, эффект был на удивление тот же: цыплята гурьбой поспедали за кошкой, собакой, свиньей. Затем меня охватил промозглый ужас, потому что в роли матери оказался неодушевленный предмет – детский резиновый мяч. Цыплята неукоснительно следовали предписанию инстинкта. В этом есть какое-то утонченное юродство природы – эта цыплячья организованная неразборчивость. Кощунство заложено в самой природе, и человек перенял его. В нашем обществе идол выполняет функции матери, и я никак не могу отделаться от мысли, что над нашим безмозглым выводком кто-то, находящийся за кадром короткого учебного фильма, ставит эксперименты.

– В природе нет политики, вот и все. А куриная семья с ее иерархией не была рассчитана на ваши утонченные болезненные умствования. Нет ничего прочнее физических связей, – наконец проговорил Семен, ущипнув засыпавшую Варвару. – Хорошо быть фрейдистом: минимум проблем, максимум либидо и максимум удовольствий.

Продолжая вертеть череп в руках, Иван потрянул головой, изрядно напугав двух прохожих, и буркнул в сторону ярких рекламных огней:

– Боже мой, какая у нас типичная ситуация!

– Нет типичных ситуаций, есть типичные люди, – огрызнулся я с нескрываемым злорадством в те же самые огни и почувствовал моральное превосходство.

«В каждом естествоиспытателе скрыт мистик». [Артур Кестлер.]

Мы попали на шумный перекресток. Варвара и я оказались на одной стороне улицы, обставленной закрытыми будками, а Иван и Семен, оттертые красным светом светофора, вдруг выказали признаки беспокойства, издавая истероидные возгласы. Вечерние прохожие, привычные в этой части города ко всякого рода потешному шутовству, не обращали внимания на две размашистые кляксы человеческих тел и скачущий в их руках череп. Из-за проплывающих мимо пыльных автомобилей, везущих людей со свинцовыми глазами на окраину душевной ночи, я слышал очередные выкрики Ивана:

– Это не я вне закона, это закон вне меня! И это не я не подчиняюсь закону, а он не подвластен мне... ..закон нужен мне, человеку, а не я нужен закону...

Не воспринятые всерьез ни людьми, ни временем суток, они остались по ту сторону красного света.

Я посмотрел на Варвару, на грудь отдельно от нее, и, нащупав в кармане потерю терпения, вдруг понял, что светофор сломался, и ночное стадо машин не перережет уже никакая естественная сила.

– А ну их, – сказала Варвара, взяв меня под руку, – идем.

Глупые пикантные анекдоты довели меня до ее дома. Я стучал каблуками, тяжеломерно паясничал, фасонно округлял глаза, перепробовал все виды сырьев для комплиментов, поцеловал ей руку и, получив приглашение в гости, подтвержденное номером телефона и подписанное воздушным поцелуем, удалился восвояси, проигрывая на сетчатке глаза ее умелое покачивание бедрами.

«Ученый – это лжец, полезный обществу; лжец – это ученый, полезный самому себе». [Джованни Преццолини.]

«Пропал не мир здравого смысла, а здравый смысл как комплекс верований о специфических вещах и отношениях в этом мире». [Джон Дьюи.]

«Мы видим мир через призму наших понятий до такой степени, что забываем, как бы он выглядел без них». [С. Тулмин.]

«Самое чистое и самое цельное непонимание получают как раз из науки и искусства, которые, собственно, стремятся к согласованию и к достижению понимания». [Фридрих Шлегель.]

Возле театра с рекламами вытянутых лиц актеров одинокий скупщик краденого предложил мне ацтекский электронный секретарь, египетский термос и проект законодательства «О мерах по борьбе...» Остальное я не разглядел, потому что напоролся глазами на вывеску, проевшую тьму жирными рыхлыми буквами:

## ЭТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Я дернул закрытую дверь так, что мягкий знак с надписи едва не упал на тротуар, а шепотом сказал в замочную скважину:

– Я не инакомыслящий, я всего лишь инакожаждущий...

Мировая история – это всего лишь свод повествований о том, как не нужно было поступать, и не более того.

Все мировые правители действуют по принципу: «Лучше плохая идеология, чем никакой веры».

Ясновидение бывает врожденное и благоприобретенное, а мое носит ярко выраженный инфекционный характер.

Смотрю под ноги, считая окурки и плевки, и вижу брошенную при отступлении из «Этической консультации» медаль «За...».

Несколько лет назад никто не знал, что у нас существуют наркоманы, проститутки, иные способы мышления и что мы умеем начинать войну, не умея воевать. Каков же был общественный ужас, когда все это появилось! Но появилось это лишь тогда, когда появились слова, обозначающие эти явления. Пороков не было, когда не было порочащих слов. А теперь есть слова и есть пороки при них. В воздухе висит тошнотворный запах покаяния. Покаяние – это форма самого страшного народного недуга, который останавливает все виды деятельности, притупляет осмысление, распяляет чувствования. Именно покаянием слабые христиане убили атлетический Рим. Логика государства и права разложили фанатизмом и моралью для слабых и неудачников. Кающийся беззащитен. Никогда не оправдывайтесь и не кайтесь: это никому не нужно. Прошедшее время с удовольствием примет вас и непокаявшимися. Десятки миллионов людей, уничтоженных именем Счастья, не примут ничьих покаяний уже никогда. Цель – мера всех вещей... Счастье – мера всех целей. Во имя этого счастья их и убили.

Неверие – это мое высшее счастье, иначе государственное узаконенное кощунство уничтожило бы и меня.

Сощурившись от неровно натянутой тьмы, я заполнил двумя параллельными столбцами страничку моего много-страдального блокнота и, едва отняв синий конец карандаша от бумаги, сделался свидетелем жуткого представления.

На рукаве согнутой левой руки вдруг откуда-то появилось фотографическое изображение ажурной женской головки. Будто летучая хворь, по периферии сознания пробежала мгновенная оторопь. Не веря больше глазам своим, я приблизил лицо к рукаву, буквально уткнувшись носом в островок пиджачной ткани, и опрометью бросился к ближайшему фонарю, проделавшему в ночи световую прорубь... Маленький фрагмент фотографии, неровно вырезанный ножницами, содержал только лицо молодой привлекательной женщины, а часть кокетливого воротника вместе с фоном фотографии остались на черно-белом молотке карточек. Фрагмент напоминал грудную мишень и, кроме того, был испачкан свежей...

...кровью.

Тут же на меня обрушился целый серпантинный дождь из бумажных женских голов, меченных кровью. Далее события с обескураживающей поспешностью, но в строго хронологической последовательности цеплялись одно за другое, совершенно не давая мне окончательно осмыслить хотя бы одно из них. Каждое явление происходило в каком-то одном про-

странстве, колдовски завораживая один из органов чувств. Пронзительные женские крики, облепленные сочными звуками борьбы и скупой мужской, бранью, наводнили прозрачный ночной воздух улицы я закружилась вокруг моей поднятой головы. Удаляясь по спирали, в освещенном окне третьего этажа промчалась группа сгорбленных теней, брызнув водопадом бьющегося стекла. Потворствуя центру тяжести, раболепно сместившемуся в сторону шума, я побежал к подъезду, застряв на мгновение в сокрушенно возбужденных старушках, будто в бетонных противотанковых надолбах. Как новые дополнения цивилизованного шаманства, на лестнице под ногами заметались цветастые банки из-под пива и старые бигуди, похожие на орудия изощренных пыток. Я толкнул одну из входных дверей третьего этажа и, овладев баррикадой из обуви и упавшей вешалки, ворвался в комнату. В текучих снопах оглушительного света мне поначалу удалось разглядеть лишь блистающий ледник из множества разбитых зеркальных предметов. Стреноженный слепотой, я облокотился на стену и коснулся рукой гравюры, как потом выяснилось, изображающей первый полет братьев Монгольфьер?!?!?! В мозгу со скоростью света плодились причудливые умственные инкрустации, но запах женских слез и духов парализовал фантазию, вернув глазам постылую трехмерную зрячесть.

– Да помогите же...

...Господи, скорее!.. – кричит молодая женщина, лицо которой перемазано слезами, тушью для ресниц и кровью.

Я бросаюсь на спину человека в мятой цветастой рубашке, который, выделявая кинематически-несуразные па всеми подвижными частями тела, с марионеточной быстротой мечется между секретером и открытым комодом, потроша содержимое и целясь огромными портняжными ножницами в косяки летящих писем и фотографических карточек, и больно отталкивает рыдающую женщину. Около минуты координированного напряжения всех мускулов понадобилось мне, чтобы стальными объятиями повалить его лицом в залежи изуродованных фотографий, в каждой из которых не хватало головы. Убедившись в его окончательном бессилии, я перевернул мужчину на спину и увидел в глазах его совершенно безумную печаль и грязные остывающие слезы. Он хотел что-то сказать, но пеннистая слюна на губах и мое колено на его животе не дали ему сил. Наконец, сквозь учащенный пульс, он прошептал мне бесцветно и отрешенно:

– Ну, что ты устал на меня? Видишь, я человек, рожденный от неизвестного отца, я дитя блудницы...

– Ложь, ложь, она оклеветала твою мать, это все ложь! Опомнись! Ты не имеешь права, у тебя нет оснований не верить! – кричала рядом женщина, словно проверяла на прочность мои барабанные перепонки.

– Я видел письма, я видел фотографии ее любовников! – продолжал мужчина, давась словами, с трудом вырывающимися из горла.

– Ложь, ложь, это были ее друзья! Между ними ничего не было!

Я почувствовал, что оказался в роли тонкого диэлектрика между двумя противозначными электрическими зарядами, готовыми, соединившись, пожрать друг друга во взрывоопасном коротком замыкании.

В богатой квартире с дорогой лапландской мебелью, увешенной мавританскими коврами ручной работы, уставленной эгейским фарфором и хрусталем, с книгами, гравюрами и бытовой электроникой из государств Сасанидов, Гупт, Сун, Бэй-Вэй, Жуань-Жуани и Аксум... проживает Молодой экономист, который, по словам молодой женщины, – его сестры, приехавшей недавно из Константинополя, – помутился умом, усомнившись в том, что является законным сыном своего отца, а не одного из многочисленных любовников матери. Я смотрел на красивое заплаканное лицо и вслушивался что было мочи в чудеса, которые молодая особа изрекала как нечто само собою разумеющееся, и постоянно озирался на мужчину в мятой цветастой рубашке, что лежал в россыпях битого хрусталя, катая желваки по сиюшнему лицу и безвольно комкая губы.

– Это повальное сумасшествие, какой-то тотальный психоз! Сейчас все заняты только одним – разоблачением своего прошлого. Неужели вы не видите..? Как?! Это повсюду. Переименовываются улицы, города. То, что считалось святым, обливается грязью! То, что было наваждением дьявола, канонизируется как образцы святости.

Я помог ей оттереть кровь с лица, благо это была не ее кровь. Поднял стулья, передвигаясь с опаской из-за осколков стекла, торчащих почти отовсюду. Невменяемое выражение лица мужчины пугало своей метаэтической отрешенностью. В мелких кусочках беспризорного света его огромные бордовые глаза выказывали полное равнодушие к происходящему.

Полуизвиняющимся тоном незнакомка продолжала, хватая меня за рукав:

– Он наслушался всякой дряни от одной престарелой тетки, знавшей мать. Безмозглая сплетница! Ей просто нечем заняться на старости, и теперь она клеймит весь белый свет за то, что стала одинокой, и заодно напустилась на мать. Я прилетела из Константинополя и прямо из аэропорта направилась к брату. Он никогда не интересовался семейными альбомами, а тут вдруг вытащил и принялся их листать. Он очень строгих правил, мой брат, совсем несовременный. Вы понимаете, увидел много фотографий с вырезанными головами людей и подумал, что это мать вырезала фотографии своих любовников, пытаясь оградить нравственность сына. Он не мог понять, что это не любовники нашей матери, а люди, фотографии которых тогда нельзя было хранить. Схватил ножницы и начал вырезать мамины изображения. Изранил себе все руки. Я чуть с ума не сошла, когда увидела его за этим занятием. Объясните хоть вы, ведь вы мужчина! Он вас послушает...

Тяжелые пласты воспоминаний оформились одним фундаментальным измышлением. Я поежился, сделавшись каким-то гигроскопичным от обилия слез.

«Будь лоялен по отношению к своему собственному делу, чтобы посредством этого служить успеху дела универсальной лояльности». [Джосайя Ройс.]

Я безоглядно вырвался из квартиры, отряхиваясь от страстей, слов и стеклянных заноз, одна из которых выпустила наружу несколько унций моей неверующей крови. Красивое длинное лицо, рыжие лакированные волосы еще долго будут мерещиться между рекламных огней, а ее роскошное пятнистое черно-красное платье метаться между прохожими, дезориентируя меня во времени

## § 7

и пространстве.

Переступив порог квартиры, в кромешной тьме я споткнулся о каменное пушечное ядро, которым в тринадцатом веке стреляли в мавров. Оно проживало у меня на вольных правах, беспрепятственно катаясь, где ему вздумается.

Я бросился в постель, как в омут, и накрылся пятнистым черно-красным сном, успев только нащупать у изголовья свой драгоценный стерео-блокнот.

\* \* \*

*Начальнику спец. отдела  
этической консультации № 2*

### Докладная записка

Спешу уведомить Вас о том, что 1 июня сего года после длительного пребывания на излечении из санатория в город, на постоянное место жительства, вернулся некто Рокотов Фома Фомич, натура сколь чрезвычайно необычная, столь и опасная и потому заслуживающая более детального описания.

Сей человек ведет вызывающий антисоциальный, образ жизни, граничащий с нарушениями правопорядка, и существующего законодательства. Рокотов снабдил себя различными нелепыми званиями, указывающими на его явное безумие. Он величает себя магистром некромантии, астрологом, демонологом, преуспевающим магом, хиромантом, аэромантом, гидромантом, чародеем, а также чванится безмерными познаниями в области прочих оккультных наук, пугая мирных жителей своим медиумическим дарованием, телекинетическими, пиротехническими и иными сверхъестественными и паранормальными способностями. В силу своих имени и отчества, доставшихся ему от рождения, он возомнил себя персонификацией древнего литературного героя – Фомой Неверующим. По приезде в город первым делом он заказал себе уморительные по содержанию и форме визитные карточки (образец прилагается).

<p><b>Фома Неверующий</b> частнопрактикующий консультант по вопросам морали и авторитарной метафизики</p>
---

Он одевается, совершенно не сообразуясь ни с какими нормами общественного поведения (детали от костюмов разных эпох). Но прискорбнее всего то, что в дни празднеств и национального траура он позволяет себе изрядно шутовские оскорбительные деяния, а поведение его способно шокировать каждого добропорядочного человека. Его речи – хитроумная смесь витиеватой крамолы, разнузданного цинизма, экзотических персоналий, философских выкладок, пророчеств, открытой идеологической пропаганды, направленной против государства. Значительные демократические послабления позволяют вышеуказанному, с позволения сказать, члену общества открыто глумиться над окружающей действительностью и осыпать всех угрозами, возомнив себя чем-то средним между пророком и юродивым. Все было бы много проще и безобиднее, если бы сей «оракул» не был замечен в чтении антигосударственной литературы, а его вздорные выходки не пользовались бы значительной поддержкой среди неустойчивой части молодежи, поклоняющейся ему как языческому божеству, поощряющему хвастовство, высокомерие, развязность и бесстыдство.

Являясь инженером по образованию и будучи на службе в одном проектно-институте, он, тем не менее, позволяет себе роскошный образ жизни. Его не раз видели в ресторанах в обществе публичных женщин и таких же, как он, распутников, на рок-концертах, в ночных клубах и театрах-студиях, что указывает на иные скрытые источники доходов.

Нельзя точно доказать или опровергнуть его способности насыпать порчи, но факт остается фактом. После того, как Рокотов посмотрел на светофор, тот незамедлительно вышел из строя, нарушив нормальное движение транспорта. При чем сделано это было после беспрецедентной по масштабам акции – осквернения могил, в которой Рокотов принимал непосредственное участие. Неизвестно, знает ли он с нечистой силой, но его встречи с лидерами политических неформальных группировок, в том числе открытой оппозиции и различных реакционных религиозных формирований, зафиксированы неоднократно.

Самый характер сей деятельности указывает на некие враждебные умыслы, среди которых значительную роль следует отнести высказываниям о его намерениях уничтожить какую-то «самую Главную и Светлую идею нашего времени». А все злые дела он постоянно записывает в блокнот, с каковым никогда не расстается, что, несомненно, может послужить уликой против Рокотова.

С уважением

*Ваш Дмитрий К.*

\* \* \*

Григорий Владимирович Балябин, атлетически сложенный высокий молодой мужчина в безупречном костюме, столь же безупречно подобранном под безупречный цвет загорелого лица, заседал за старинным дубовым письменным столом, который был обтянут дорогим зеленым сукном и снабжен огромным количеством ящиков, бронзовых ручек и иных декоративных дополнений. Оба они, как единое целое, производили впечатление величественно-грациозного ансамбля, что никоим образом не соответствовало ветреным канонам эпохи. Человек и письменный стол настолько шли друг другу, дополняли массивностью крупных форм, без остатка усваивающихся глазом, что становилось отраднo. Ухоженным холемым почерком Григорий Владимирович окончил некие записи, довершив таким образом неспешные раздумья нескольких последних



дней, и, захлопнув папку, убрал ее в один из ящиков. Отбросив на спинку кресла пиджак, упруго набитый мускулами молодой человек, крутнувшись в кресле одним движением икроножной мышцы, обратился к византийскому персональному компьютеру, что бодрствовал мигающим зрачком курсора на пепельном экране видеомонитора. Григорий Владимирович распечатал новое циркулярное письмо и докладную записку министру с сопроводительной информацией в виде разноцветных графиков и плотно сбитых столбцов цифр, а когда вынул последний листок из цветного лазерного принтера, выключил всю аппаратуру. Убрав парфянок факсимильное устройство вместе со сводкой последних карфагенских таможенных тарифов в ящик и прибрав все на столе, он удалился на прием к министру, неся в черной кожаной папке свежераспечатанные документы. Карий глаз скользнул по носкам серых туфель, и стоило убедиться в их безупречном блеске и щелкнуть ухоженным ногтем по тугому галстучному узлу, как идеальным равноускоренным движением закрылась дверь светлого просторного кабинета.

Григорий Владимирович Балябин – первый заместитель министра.

Часы медленно гримасничают жидкими кристаллами в ремяпроводящих цифр, точно отслеживая движения длинных ресниц симпатичной секретарши.

09.58

\* \* \*

Все дело в том,  
что я ненавижу  
собственное тело.

Временами эта ненависть становится лютой. Мое тело весьма далеко от совершенства и не является сосудом видимой силы. Оно не есть сгусток энергии, а источник многих моих комплексов и опасений, так как буквально напичкан различными недоработками творца. Еще ребенком, цепенея от примитивной злобы к изначально данному обиталищу, я измышлял хитрые способы, как разделаться с этим жалким комочком греховной глины и создать на его месте нечто мощное и грандиозное. Но во мне нет той воли, что позволяет облепливать кости спелыми гроздьями мускулов, ретиво вьющимися при каждом пустячном телодвижении...

Чувство иного тела – не новость в моей автобиографии чувств. Возможно, вышеупомянутой ненавистью я убиваю всякие начатки недомоганий и хворей.

Я никогда ничем не болею. Крутые пики биоритмов меня не ранят, они осыпаются с моих абразивных ощущений прямо в память без предварительной сортировки.

Ощущения моей самости, духа, времени давно отслоились от тела, явно не поспевая за ним. А может быть, наоборот, тело безнадежно зависло в прошлом, зацепившись за первую попавшуюся секунду, чуть-чуть выступившую из общего ряда.

Я отвалился от матрицы,  
которую  
создал  
Бог, и

принялся потихоньку обшаривать все измерения, собирая себя в горсть. Сотворив это нехитрое перевоплощение, потрогал буквы (...) Все было на месте.

«Границы моего языка означают границы моего мира. То, чего мы не можем мыслить, того мы не можем и сказать».

[Людвиг Витгенштейн.]

«Сверхорганизованность нашей общественной жизни выливается в организацию бездумья». [Эрих Фромм.]

«В обществе, которое требует от человека только компетентного исполнения его частной функции, человек становится тождественным этой функции, а остальное его бытие обычно погружается ниже поверхности сознания и забывается». [Уильям Баррет.]

Мне пришло на ум множество иной, менее примечательной, афористической всячины, и я лишний раз обрадовался моему любимому высказыванию Блаженного Августина:

«Люби Бога и поступай как хочешь».

Все этические установки – ничтожные инкассаторы души, и я чувствую, что вот-вот совершу на них разбойный налет с изъятием всей выручки.

Я вышел наконец из дома, дабы предаться занятию, которое в первом приближении можно было определить как поиск работы. Чудесное состояние владеет мной. Сегодня и всегда я нахожусь за пределами баллистической досягаемости общественных догм.

Чудом уворачиваюсь от автомашины скорой помощи, уносящей на лобовом стекле мгновенный блеск моей шевелюры и, сторонясь скуластых полицейских, лгну к рекламным щитам заведения, возродившего тараканьи бега. Делаю шаг в сторону, будто в бальном танце, и чувствую, что давя не что мягкое. Моя нога стоит на горке разноцветных тел домашних птиц, единообразно поджавших лапки в предсмертной агонии. Здесь же, рядом, на складном брезентовом стульчике, вижу сухощавого старика, которого узнал бы без труда, ведь именно ему я помогал выгружать клетки с беснующимися птицами, когда мы были вынуждены покинуть пригородный поезд. Тербя засаленную кепи, старик сидел возле своего сокровища, еще вчера подававшего бурные признаки жизни, и все с тем же прозорливым весельем, без усталости катая морщины по лицу, будто волны, сказал мне:

– Так что вот так, мор на всех напал.

– Это тот, который Томас? – машинально спросил я, усиленно представляя себе тараканы бега, модернизированные электронным секундомером и синтетическими тараканьими допингами.

– При чем здесь Томас? Просто мор, и Томас в том числе.

И, едва не подавившись очередной порцией веселья, он воскликнул, подтянув подбородок:

– Купите кенаря!

– Как?

– Купите кенаря! – уже громче и настойчивее.

Я бросил мятую бумажку, из-за которой, возможно, еще вчера рисковали жизнью финикийские пираты у берегов Евксинского Понта, и, мобилизовав всю вежливость, ответил ему так:

– Благоволите выбрать на свой вкус, почтеннейший, ибо ничего не смыслю в певчих птицах.

– Я порекомендовал бы вам вот этого. Особенно, если дело касается улучшения потомства. Не знаю, как ваш Томас, но уж я-то в этом деле специалист, – и он отбросил мне носком стоптанной туфли пушистое тельце.

– Благодарю вас, – положив птицу в карман, я продолжил:

– Не подскажите ли, чем вызвана эта нервозность в городе?

– Почему же не подскажу? Подскажу охотно. В городе намечался парад с салютом, транспарантами и прочим весельем. Но неожиданный порыв ветра вырвал листы сценария праздника из рук устроителей. И когда, наконец, листы собрали вновь, все к ужасу своему увидели, что разложить их в прежней последовательности не удастся, так как в спешке их забыли пронумеровать. Но время начала праздника было объявлено загадом, и медлить было уже нельзя. Праздник начался... а получилась забастовка. Хотя никто толком бастовать и не хотел. Просто все точно следовали сценарию праздника, чтобы был порядок. Но листы-то перепутаны, и получилась гигантская забастовка с салютом, лозунгами, разгоном и жертвами. Хотя никто и не хотел...

– А кто же виноват во всем?

– Я же вам говорю: ветер. Было много насмерть задавленных танками. Даже во время Второй Пунической войны, в которой я принимал участие в качестве пращника-снайпера, не видел такого количества задавленных женщин и детей.

Старик искрил глазами, потирая желтые руки заядлого курильщика, подрагивал всем телом, продолжая сосредоточенно объяснять что-то некоей геометрической точке пространства, приглянувшейся ему больше прочих.

Неожиданно молодой человек смазливой наружности предложил мне по сходной цене абиссинские военные ордена, египетские порнографические открытки периода XVIII династии Нового царства, портрет Нерона в розовых одеждах, справочник по оккультной теплотехнике и серийный протез, якобы подходящий ко всем частям тела сразу. Я оттолкнул от себя юнца и его оскудевшие инстинкты с одной единственной мыслью, что общение с людьми, не имеющими цели в жизни, а также с неудачниками является в высшей степени бесполезным занятием и вредит здоровью.

Возле входа в пивное заведение группа людей обоего пола с лицами, выкрашенными под рельеф местности в защитные цвета, что-то очень громко скандировала, гремя пивными банками. Я подошел к юноше в щегольском костюме с дедушкиного плеча. Его лицо было разрисовано, как фасад главного колониального банка города. Я учтиво спросил его, что здесь происходит, оглядывая собравшихся. Юноша посмотрел на меня с каким-то суетным пренебрежением и щелкнул пальцами, демонстрируя перстни. В мочках его ушей мигали красные и зеленые светодиоды – одно из последних достижений молодежной моды, сменившее цветные татуировки, – и мне нравилась эта очередная технократическая блажь. Он не успел ответить, потому что за него это сделала девушка, лицо которой было выкрашено под цвет ландшафта центрального парка. Округляя губы, она прелестно пролепетала, что это сборище общества антиурбанистов. Вместо юбки на ней был фрагмент старинного бордового гобелена с желтыми плетеными кистями, а вокруг груди обернут кусок синей тафты со вставленными в ткань микросхемами сопроцессора персонального компьютера. Я прикинул стоимость этого украшения и ужаснулся.

Тут ко мне одно за другим обратились беспольные лица, раскрашенные под ванную комнату, свалку телевизоров, кегельбан, очередь, драку на танцах и многое другое, что не дано было мне уже разглядеть, так как в глаза бросился огромный плакат

Город – всем заразам зараза

Все это действие было ритуальным проклятием целой горе флаконов всевозможных аэрозолей.

«Индивидуальный прообраз идеологии – это невротическое расстройство, на примере которого исследуется механизм нарушения коммуникаций». [Юрген Хабермас.]

Страны, давшие миру самое большое количество выдающихся деятелей науки, культуры, религии, искусства, откупались от истории самыми большими человеческими жертвами.

Я не люблю пиво, но мне захотелось есть, и я заказал кружку пенного вавилонского напитка, про себя назвав его «добрым элем»; и тарелку горячих колбасок со специями по-хеттски. Дрожащая пена цвета янтаря вдруг смыла все набегавшее во мне отчаяние.

Никогда не канонизирую рождение образа, явившегося мне. Даром достался и этот, утяжеливший блокнот новой дюжиной синих красных слов (...)

Рядом не было ни одного зеркала, но я знал точно, что на моем лице застыло выражение бесполезного благородства. Точнее, та его узкопрофильная версия, с которой молодой положительный герой глупого фильма о войне одергивает

юбку на женском трупе.

Неловкие капли пива, попавшие в блокнот против моей воли, сделали несколько красных слов омерзительно рыхлыми. Собственный почерк молниеносно опротивел мне, и я спрятал блокнот.

На столике рядом лежала газета «Рекламные ведомости».

Я ненавижу газеты, потому что им все равно, что со мной будет, и отчего я умру, и как. Но, тем не менее, открываю наугад...

...«Журнал «Монофизитство вчера и сегодня» проводит конкурс на замещение вакантной должности главного редактора».

«Научно-технический центр имени Авиценны предлагает своим заказчикам новый пакет прикладных Программ для насыления автоматизированной порчи «СГЛАЗСОФТ», версия 3.0, операционная система MS DOS».

«Министерство кровопускания и иглоукалывания предлагает новый медицинский аппарат для электрического тестирования эрогенных зон «Казанова». Спешите приобрести его, успех в любви вам обеспечен».

«Академия прикладных искусств проводит конкурс красоты среди людей с гормональными нарушениями.

Почему нет?

Ведь существуют же Олимпийские игры для инвалидов. Это новый шаг к подлинной демократии».

«Обучаю мертвым языкам средиземноморского бассейна второго тысячелетия до нашей эры».

«В помещении лупанария Общества Свободных македонских гребцов состоится выставка-продажа трепангов. Все средстве от нее поступят на счет фонда выкупа наших военнопленных, находящихся в плену у абиссинского Негуса».

«Открытый чемпионат Атлантиды по скороедению...»

...я пью вавилонское пиво.

«Мир просвечивает через призму языковых построений». [Людвиг Витгенштейн.]

«Наш язык напоминает древний город: множество мелких улиц и переулков, старых и новых домов с пристройками разных периодов, окруженные множеством новых проспектов, прямых улиц, стандартных домов». [Людвиг Витгенштейн.]

«Слова – это сосуды, наполненные переполняющими их переживаниями. Слова лишь указывают на некое переживание, но сами не являются этим переживанием. В тот момент, когда с Помощью мыслей и слов я выражаю то, что испытываю, само переживание уже исчезает: оно иссушается омертвляется. От него остается одна лишь мысль. Следовательно, бытие невозможно описать словами, и приобщиться к нему можно, только разделив мой опыт. В структуре обладания правят мертвые слова, в структуре бытия – живой невыразимый опыт». [Эрих Фромм.]

...я ем горячие колбаски по-хеттски.

Интеллект дан человеку для того, чтобы в максимально аргументированной форме оправдывать свои инстинкты.

Внутри и вне меня театр китайских теней.

Ничто так не изнашивает и не старит душу, как бесцельное ожидание.

Чудесное пиво, великолепная пицца! Очевидно, что мораль каждого народа зависит от климата и качества продуктов питания. Именно поэтому я столь снисходителен к соплеменникам и современникам.

С нескрываемым отвращением выбросив лист свежих новостей, я вперился очами во фригийский телевизор, что в углу заведения подавал признаки жизни размытыми цветами.

Здесь тоже давали новости:

– Интервью сиамских близнецов перед кругосветным путешествием.

– Ржавеющие корабли в лоне высохшего моря...

...и, мгновение спустя...

...дома, утопающие в Бог весть откуда взявшейся воде.

– Результаты применения нейролептиков при разгоне демонстрации, направленной против переименования кратеров и морей на Луне.

– Количество аборт, юбилеев, самоубийств, изотопов, тараканов, белков, галлонов, метров на условную душу населения, которую давно пора причислить к лику святых за универсальную всеядность и неюжинную покладистость.

Господи, помилуй статистику! В Древнем Риме идеология считалась развлекательным жанром, очевидно, поэтому христианство и взяло верх (...)

...моей руки коснулись.

– Извините, не помешал? – обратился ко мне человек с лицом предводителя островного государства и пивной кружкой в мясистой руке кулачного бойца. По совокупности признаков я не пожалел бы дать ему пятьдесят лет, хотя с таким же точно лицом встречались люди и более молодые. Упругий плотный человек, одетый буднично, как и все его поколение, называющее себя обманутым, нес на лице начатки старческой ребячливости. Он пытался завести со мною разговор, конечной целью которого являлось некое обезболивающее себя откровение.

– Пожалуйста... ..Да-да... ..Нет-нет... ..Конечно, – отбивался я, рискуя обидеть человека, и подливал себе внутрь пиво, чтобы легче было переварить обыкновенную историю жизни. Мое высшее техническое образование и несколько удачных замечаний развеселили человека, отчего его седина заслонила разрумившимся лицом, которое в короткие мгновения смеха, казалось, отрывалось от неудавшейся жизни. Он вернул мое откровение, сознавшись, что разведен, и я понял, что его ошибки в браке были всего лишь стилистическими. Когда он рассказывал мне очередные подробности своего бытия, пиво в моей кружке уже закончилось, и я принялся мысленно считать, причем почему-то сразу с трехзначных цифр...

707, 708, 709, 710...

Преодолев несколько новых сотен копошащимися губами, я уже с нескрываемым удивлением уставился в его визитную карточку.

<p style="text-align: center;"><i>Пуут</i> <b>Максим Романович</b> Начальник реставрационной мастерской</p>
---

– Приходите ко мне работать. Мне такие люди, как вы, нужны. Денег много не дам, но сестерциев двести положу, а там посмотрим. У нас свободное посещение и очень интересная работа, – заявил он.

Мой собеседник, мечтательно подняв голову и, став сразу красивым и значительным, вдруг сказал:

– А вы знаете? Интересная вещь. Свободы слова стало больше, а политических анекдотов меньше. Я вон раньше столько их знал, а сейчас, хоть казните, ну, ни одного не припомню. Тут в вечерней газете писака один что-то настырно про чистоту народной мудрости распространялся, да поэта все цитировал. Одна беда – поэт-то этот не классик. А жаль. Да... Только я один и изумляюсь. Как зовут-то вас?

– Фома.

– Ну и хорошо.

– Только я, знаете ли, не умею работать реставратором, ведь для этого нужно образование, – вставил я.

– Пустое. Научитесь, теперь столько реставраторов нужно, что и ваше образование сгодится. Я-то вот... Ну, да ладно. До свидания, приходите.

Он ушёл, пожав мне руку и оставив наедине с последними новостями.

Я долго буду шагать по городу, отчаянно вдыхая резкий клокочущий аромат столкновения двух эпох, новой и старой, схватывая их взаимопереплетение почти на уровне сенсорного восприятия. Классические атрибуты старой эпохи получили кощунственные дополнения, а дух новых инициатив гадким полипом привился на обносившихся, но по-прежнему помпезных моральных принципах, несколько их не украсив. Каменные статуи, исполненные в героическом стиле, повсюду были облеплены лотками с массовыми товарами, недоброкачественность которых с лихвою искупалась их числом и недостатком освещения. А основания постаментов были испещрены интернациональным лингвистическим вирусом. Это сужало полноту очарования серых каменных монстров, призванных повелевать в пределах серой эпохи и смешить в пределах разноцветной. Судьбообразное значение старых символов истерлось настырной повседневностью, а новые не нашли оной, несколько не задумываясь о судьбе. Характер культуры принял воинствующий оттенок сиюминутности и посюсторонности. Все вечное, гордое и величественное, бывшее достоянием серой, но каменной эпохи, истерлось под массивным экстазом однодневного проживания состояний, чувств и умов, накануне стремительно сгущающихся конца века и конца света. Моральное помешательство стало массовым недугом, придающим глазам специфический упаковочный блеск. Я молюсь на генетический опыт моих предков, который безошибочно помогает мне читать все с лица у каждого человека, сорвавшегося с судьбы. Легкой уверенной походкой завсегда я буду появляться на массовых распродажах и манифестациях, в узилищах новых белокожных культов и сладкокрастных бесовств. Я подойду к худому уличному проповеднику, окруженному засыпающими на солнце зеваками, осажу его патетические догмы о непорочном зачатии и всеобщей любви слабейшего человеческого рода. Пережатые крашенные блондинки с поношенными лицами вперят в меня свои взгляды. А я расстегну пуговицы пиджака, широко расставлю ноги и, выпятив грудь, как любимый королевский попугай, спрошу зычным голосом, перекрывая посторонние шумы:

– Скажите пожалуйста, почему языческие религии прославляют культ фаллоса, символ производительной силы природы, и все связанные с этим активные мужские добродетели, а христианство, напротив, славит культ женского начала и все связанные с этим пассивные женские добродетели, называя, кроме того, все плотские желания здорового организма грязными и низменными? Почему язычество славит силу, выносливость, успех, роскошь, победителей, а христианство – послушание, кротость, смирение, нищелюбие и побеждённых? Кому выгодно ослаблять людской род?

Проповедник, облаченный в мирские одежды, прижмет к груди Библию и с бледным от гнева лицом бросит мне в ответ со всей своей канонизированной страстью:

– Пойди, прочь! Ты Фома Неверующий!

Спустя полчаса я войду в атеистическое общество и в точности повторю вопрос, и первый попавшийся человек с неприкрытым лицом и казенными ужимками ответит мне в номенклатурном гневе и укажет на дверь:

– Пойди прочь! Ты Фома Неверующий!

Человечество бережно хранит мое имя и свое недомыслие. Все в полном порядке. Если я внушаю отвращение и ужас окружающим, значит всецело удовлетворяю своему непреходящему функциональному назначению. Я отлично помню, что Гальвани, изобретший теорию электричества, был прозван своими учеными собратьями «лягушачьим танцмейстером» за демонстрацию сокращений мышц лягушачьих конечностей под воздействием электричества.

Слова «благородный», «породистый», «аристократический» совершенно исчезли из обращения ввиду отсутствия объектов именованья. Слабые уравнивали всех, чтобы некоторые из слабых незаметно стали сильными. Бюсты нового Бога продаются в каждом магазине рядом с эротическими открытками, а застарелый лозунг «Мир хижинам – война дворцам» поняли настолько буквально, что чувство прекрасного исчезло вовсе, ибо оно тоже не живет вне дворцов. Чудовищный синтез языческого многообразия и христианского фанатизма в одинаковых белых статуях, от которых некуда деться. Искусственное неувядающее проклятие витает над человеком. Все оголтелые материалисты – идеальные фанатики, ибо фанатизм – явление сугубо земное. Оно рождается и ползает только по земле.

«Суеверие может проявляться двояким образом: в отношении явления и в отношении их объяснений, причём оба суеверия могут существовать вопреки общераспространённому воззрению отдельно». [Карл Дюпрель.]

Две эпохи напали друг на друга, будто стравленные цепные псы, и калечат ни в чём не повинных людей. А я не хочу быть инвалидом и потому отсиживаюсь в своем защитном Неверии, из которого мне видно ВСЕ.

Я знаю.

Если определённая власть имущая группа людей в обществе желает отвратить взоры народа от насущных проблем современности, дабы укрепить власть, она препарирует историю, расчлняя ее на две: официальную и неофициальную, неправильную и правильную, старую и новую. Механизм отвлечения срабатывает, и народ, не замечая реальных проблем, следует за борьбой этих историй, сталкивая лбами в угоду властелинам портреты отцов и дедов. В обществе безошибочно развивается чувство отвращения к святыням, с именем которых толпами ходили на убой, расцветают обиды, амбиции, множатся сведения счетов. Фискальные, тактические цели достигнуты.

Весь ужас, однако, заключается в том, что ни один властелин еще не сумел понять, что при подобного рода столкновении толкований исторических фактов исход борьбы остается не в прошлом, а переносится в будущее, настигая уже этический мир детей и внуков.

Эти пародии мнимого очищения от застойных, реакционных, неприглядных эпох случаются постоянно с завидной регулярностью. И каждый раз потоки крови и слез льются во имя очищения абстрактных определений истины и исторической правды. И вновь, как обычно, отживающее поколение калечит нарождающееся противоестественными наставлениями, а то, достигнув первых сил, крушит головы идолов, успевших окаменеть до полного безразличия посмертных памятников. Каждое новое воспаряющее поколение стремится пожрать собственный хвост, наводя громогласную ревизию исторической справедливости среди могил, понятий и образов. И все силы молодости без остатка выпивают чёрная злоба и кошмарный зуд мести. Сильный избивает слабого, а слабый уродует облик сильного, начиная проповедовать и юродствовать, совестить и корить.

«Каким безнравственным показался бы мир, если бы не было забывчивости». [Фридрих Ницше.]

«Единственной опорой памяти о прошлом становятся битые черепки и объедки от мамонтов. А разве это история? История не оставляет следов. Она оставляет лишь последствия, которые не похожи на породившие их обстоятельства». [А. А. Зиновьев.]

«История кажется уже просто каскадом ответов – ложных, отчасти верных, абсолютно ложных, бесполезных». [Э. Ионеско.]

Если бы в языке не было слова

## § 9

### НЕИСТОВЫЙ,

я бы моментально умер.

Я пользуюсь им как драгоценным эликсиром накануне убийственного турнира. Меня всегда будет тянуть к людям, такова моя сущность. Я люблю концентрированные разноречивые страсти.

Последовав за группой мускулистых загорелых парней и гибких соблазнительных девиц, я попал в гущу коммерческих предложений на центральном городском рынке, что, по смехотворному стечению обстоятельств, находится в парке перед главным идеологическим учреждением – Институтом повышения квалификации неудачников.

Нелепые портики здания облеплены палатками с самым разнообразным товаром, и никакие полицейские облавы, совершающиеся скорее по инерции, чем из соображений реального законоведческого добротства, не в силах унять торговлю порнографией, наркотиками, оружием и иными, более безобидными товарами. Гении частного предпринимательства неистово наперствывали упущения официальной экономической политики, не считаясь ни со здоровьем, ни с собственным комичным образом модернизированных нуворишей. Но все это с лихвою искупалось подлинно здоровой энергией, рвущейся стремглав навстречу новым прибылям, пространствам и мечтам. Здесь и впрямь чувствуешь, что жизнь становится церемонией.

«Величайшее, чего может достичь человек, – это изумление». [Освальд Шпенглер.]

Тонконогий сутенёр с туловищем, натянутым по идеальной эвольвенте, предлагает мне двух девиц. Все трое делают изящный книксен, попеременно подмигивая. Их заслоняет дюжина культуристов, играющих на солнце густыми зарослями мышц и цветными объемными татуировками. Зычные голоса, нанизанные на частоту ритма сатанинской музыки, изнывают от страсти и приглашают в натурализованный Эдем. Маленький толстый человек в клетчатой жилетке и простреленном котелке на потной голове предлагает сочинить для меня стихотворный пасквиль или эпиграмм. Глядя в жабы глазки с фокусом на затылке, беззлобно посылаю его к дьяволу. И тотчас же оказываюсь окруженным вешалками с военными мундирами и бальными платьями разных эпох. Эполеты, фалды, байты, звезды, золотое шитье, рюши и шали забивают рот, точно кляп. Мне нечем дышать, и я едва не выкальваю глаз с всамделишный китовый ус, выбившийся из сладостных пут корсета. На железный каркас палатки в несколько ярусов натянута полотно батика, расписанного в псевдоориентальной манере, отчего палатка делается похожей на кулисы уличного балагана. На прилавках лежат бусы из черного жемчуга, месопотамская установка спутникового телевидения, фракийские очки для стрельбы из снайперской винтовки с лазерным прицелом, пирамиды экзотических фруктов, цветной видеотерминал от нумидийского компьютера, специи из Эпира, парфюмы из Коринфа, целый Монблан из дамских босоножек, увязанных парами, чучела настоящих и выдуманных животных.

– На нашем Вавилонском базаре объявились интеллигентные люди. Кто бы мог подумать? Только для вас! Машина для изменения почерка! – обратился ко мне живописный молодой человек с длинными русыми кудрями и сияющим взором. Выудив за локоть из общего месива, кишящего любопытством, и вальяжно улыбнувшись, он подвел меня к служившему в качестве подставки пластмассовому контейнеру с нарисованным на боку черепом и костями. Несколько компактных блоков

с переключателями, проводами и планшеткой с ювелирно сделанными рычагами и датчиками, стабилизируемыми в любой плоскости, а также жидкокристаллический экран озадачили мое дипломированное воображение.

– Засуньте руку вот сюда, так, чтобы датчики плотно облепили кисть, возьмите перо и слегка надавите на планшетку... – начал было молодой человек, оглаживая локоны, струящиеся вдоль впалых щек.

– Послушайте, а зачем нужно менять почерк? – спрашиваю я, напрягая мышцы спины и ощупывая свой драгоценный блокнот во внутреннем кармане пиджака.

– По почерку можно определить характер человека, это вам известно?

– Да, разумеется.

– Вы, вероятно, знаете также, что при определённых психических состояниях почерк одного и того же человека меняется. У человека в нормальном и болезненном состояниях почерки разнятся. В общем, по почерку я могу снять психическую диаграмму состояния пишущего человека, а затем уже раскрыть всю его подноготную. Ну, а имея несколько образчиков почерка, я могу определить и судьбу. А дальше... – он остановился, ехидно разглядывая мое лицо, – ... дальше, если существует прямая связь между почерком и характером, то без особого труда можно установить также обратную и влиять на нее. Я регулирую ваш почерк и, следовательно, влияю на ваш характер, а в конечном счете, на вашу судьбу... А??? Могу сделать из вас. Наполеона, Чарли Чаплина, Цезаря, Элвиса Пресли, Сведенборга, Христа, Гитлера, первобытного дикаря, волшебника, сексуального маньяка, гения науки, женщину, гермафродита, гуманоида, дьявола. Что хотите?

Молодой человек несколько напрягся, а его манерность сбежала в архетипы перечисленных субъектов.

– Выбирайте! – настаивал он, заслонив солнце и музыку.

И я тихо сказал, добавляя вес каждому последующему слову:

– Сколько стоит почерк и судьба Фомы Неверующего?

– О-о-о, – оживился юноша, отбросив назад локоны, – да вы эстет, такого утонченного заказа мне не делал еще никто. Садитесь, садитесь немедленно, я придам вам квинтэссенцию долговечного цинизма и научного неверия. Вы даже усомнитесь в дате своего рождения и вращении Земли вокруг Солнца. Сейчас, сейчас...

Он впился ровными почти одинаковыми пальцами в пульт, щелкая рубильниками и дергая ползунковые переключатели. Флегматичная девушка с рыжей родинкой на одном из полушарий красивой груди, выглядывающей из выреза кофты, связанной из разноцветной бумажной веревки, нехотя откладывает нескончаемое гиперболизированное яблоко. Облизывающая губы, местами переходящие в россыпи веснушек, она просит меня снять пиджак и закатать рукав рубашки.

– У вас рука Паганини. Расслабьтесь. Вы, случайно, не карманный вор?

– Нет, я ухаживаю за лошадьми в цирке, – отвечаю, пуская пузыри уголками рта...

Девушка брезгливо морщится, прилаживает многочисленные датчики к запястью и регулирует планшетку.

– Лина, не раздражай клиента, – озабоченно вмешивается хозяин. – Ну-с, готово. Поехали!

Я пишу небольшой диктант из цитат классиков гонимых и классиков новоявленных, озираясь по сторонам, как хмельной посетитель дорогого борделя.

– Скажите, а у вас есть какая-нибудь гражданская специальность? – неймется мне от запотевших датчиков, присосавшихся к руке, как механические пиявки.

– Я работаю диктором центрального телевидения, веду программу для глухонемых, – отвечает молодой человек, разглядывая что-то на жидкокристаллическом экране.

– Любопытно, как вы сочетаете такие разные занятия, тем более у вас такая развитая живая речь. И вдруг – язык для глухонемых!

– Ничего удивительного, всё закономерно. У нас почти все дикторы центрального телевидения страдают косноязычием и безграмотностью, и, чтобы не раздражать всех, пришлось выучить язык глухонемых. Ведь я гуманитарий по образованию, психолингвист. Успел даже защитить диссертацию на тему «Психопатологические основы скороговорки». Всякое было... А сейчас, не стыдно сказать, рад жизни. А что, знаете, поговоришь на пальцах, и сразу легче делается. Недавно начал ловить себя на мысли, что даже думаю теперь по-глухонемому, до того привык. Жизнь намного проще и правильнее представляется. В словах слишком много неясности, уязвимости, трагизма. А тут совсем другое дело. Ну вот, готово! С вас двенадцать пятьдесят. Теперь вы – Фома Неверующий. Да, чуть не забыл. Три часа не мыть руки, не драться и не заниматься любовью, чтобы почерк устоялся. Желаю успехов!

В ближайшей харчевне с туземным названием я вымыл руки с тщательностью хирурга, сочно ударил по лицу приземистого хама национально-интернациональной наружности, когда тот предложил мне наркотики, и с удовольствием обнял длинноногую брюнетку, посмотревшую на меня вызывающе. Это был идеально смоделированный сексуальный объект. Я впился в ее шею с животной страстью Дракулы, чувствуя сквозь каленый поцелуй учащающийся пульс красотики, обмягшей в моих объятьях.

– Ты наваждение, ты не женщина, ты стихийное бедствие, – шептал ей на ухо, жадно глотая ароматное дрожащее дыхание и облепив ее, будто паука, всем своим телом.

Все три мои выходы остались конструктивно безнаказанными.

Наша эпоха увита метастазами декаданса, будто кровососущим плющом. Мое имя – это обреченность быть победителем, ибо каждый догматик генотипически не способен быть победителем (!!!) Я человек, и никакая государственная идеология или другая громоздкая оплошность не оправдают меня перед Богом и самим собой...

Избрание доминирующего морального принципа подобно заболеванию общеобязательной детской хворью. (???) Кому что достанется: скарлатина, корь, ветрянка или какое-нибудь иное вненаучное определение. Переболеешь, обрасс-тешь целительной коростой иммунной толстокожести и становишься взрослым.

Мне достался вирус Неверия.

С убеждениями еще хуже.

Убеждение подобно обуви: как бы ни было притягательно внешне, если оно не в пору, им невозможно пользоваться.

Если тебе плохо, никогда не изливай душу человеку, которому тоже плохо. Он не поймет тебя, ибо ни в чем так не эгоистичны люди, как в своем страдании.

Мысль чарует всем своим многообразием только тогда, когда шокирует.

Между вещью и словом, обозначающим эту вещь, всегда существует некий путь, и преодолеть его может не каждый.

Психокинетическая энергия единичного жизненного успеха всегда больше или равна сумме физических и духовных усилий, требующихся для достижения следующего успеха. Удача необходимо рождает новую, превращая всю дорогу жизни в интересный путь триумфатора.

Так хотел и так сделал Бог.

Поток моей фантазии сплошь в цветных татуировках афоризмов.

Афоризм – это мыслительная форма, наиболее близкая

Богу, ибо Господь не многословен.

У меня было такое эмоционально-вкусовое ощущение, будто я только что съел каннибала, и с этим-то привкусам циклически съедаемого и перевариваемого человеческого мяса я застрял взглядом в лице высокомерного человека, обратившегося ко мне, нещадно грассируя и поправляя огромные запонки:

– Не желаете ли приобрести антикварный лозунг, милейший?

Смотрю на его грязные каштановые волосы, редкие усики, непременный чернозем под ногтями, ярко-красный галстук, значок с профилем какого-то Сенеки в якобинском колпаке и спрашиваю:

– Сколько стоит здравица Богу Ра?

– Купите лучше всю агитацию к посевной кампании в Ногайской орде, недорого отдам, – отвечает человек, позабыв манеры обхождения с буквой «р».

– Нет, тогда уж лучше что-нибудь времен Перикла. Мне для детской комнаты нужно.

– Тяжелый вы человек. Ладно, пойдемте, что-нибудь поищем для вашей детской комнаты, – обратился человек уже более дружелюбно.

У него дряблая прозрачная кожа, натянутая на кости, будто на пальцы, хотя худым его не назовешь. Я уставился на его шею, выискивая между венами какой-нибудь заветный лозунг, от чего он почти с ужасом оглянулся, изучая мое внимание, потрогал шею и, не найдя на ней ничего примечательного, услужливо пропустил меня вперед. Сотни разноцветных полотен, испещренных буквами, бежали вкривь и вкось, образуя подобие замкнутого объема, в коем и протекала наша дальнейшая беседа.

– Что это у вас?

– Это э-э-э... нечто наподобие каталога, классификация лозунгов по историческим эпохам и странам света.

Я смотрю на забавное название на гигантском кляссере в сафьяновом переплете с золоченым конгревом.

### Книга царств

Человек с дряблой кожей принимает листать каталог, и под его пальцами с калейдоскопической быстротой мечутся уменьшенные копии плакатов, таблиц, лозунгов, листовок. Во всей этой круговерти размашистых цифр и режущих глаза букв, неумной чехарде восхвалений и карикатур я успеваю схватить лишь частицу одного хлесткого призыва: «Товарищи рабы!!..»

Инстинктивно дергаюсь к кляссеру, чтобы прекратить этот бесноватый коллаж букв и цветов и пристально разглядеть один из фрагментов, но белая рука, увитая фиолетовыми венами, отстраняет меня, а немного гнусавый голос, вновь набирающий надменность, будто ладонь паруса остатки ветра, поучительно разъясняет:

– Это не то, что вам нужно, это надпись над входом одного из шумерских концлагерей.

Перебивая химически активный голос и бряцание огромных запонок, взорвались граммофонные всплески марша с невероятным треском затертой пластинки, мучительно рожаящей его. Заношенный марш и едкая пыль лозунгов, составившихся в злопахательстве, вызвали во мне оскомину и понизили умственный тонус. Огромный раздел кляссера был заполнен воинствующей пропагандой двух некогда враждовавших стран. Плакаты одной стороны изобиловали красным цветом, плакаты другой – чёрным. Все в них было различно: символика и манера. Только лишь воинственный оскал солдат был на удивление единообразен, словно поверхностную идеологическую мишуру малевали разные умельцы, а бесчувственное лицо главного воина-героя для обеих воюющих сторон изобразил один и тот же художник.

– Обратите внимание, здесь широко представлена матримониальная тематика. Вот обширный раздел материанства. Здесь – агитация к безбрачию, а это – аргументы христианства, тут – язычество. Так, здесь у нас проповедь аскетизма, тут весь гедонизм. А вот – прославление физкультуры. Это – агитация в пользу науки, а вот это – борьба с сиротством. Тут – космополитизму это – национализм, здесь – почвенничество, в том числе и наше, средиземноморское. А здесь уже разное, – говорил мне человек, занятый любимым делом, легко пробегая по каталогу вертлявыми пальцами.

– Скажите, и давно вы этим занимаетесь?

– Порядочно, лет десять, – отвечал мне он, крайне неживописно поглаживая мясистую переносицу.

– А откуда взялось такое престранное увлечение? Почему было не выбрать привычные марки, монеты, фантики или что-то иное, столь же элементарное.

– Это уже экскурс в тайны моей психологии. Но я отвечу, так как, кроме лозунгов, люблю собирать ни к чему не обязывающие вопросы и ответы на сокровенные темы. Марки – это маленький срез эстетической, политической и экономической жизни общества, монеты – это кое-что о финансах, фантики – об искусстве торговли. Но все вышеперечисленные ви-

ды коллекционирования – это собирание прошедшего времени, это собирание свершившихся дел и дат. А лозунги – это амбиции, это – устремления в будущее, это чаяния, убеждения, квинтэссенция рвущейся человеческой сущности. Ни одна марка не способна послать в бой миллионы бойцов. Ни одна, даже самая драгоценная монета, не в силах возродить или обуздать массовый фанатизм. Ни в один фантик не поместится прошлое или будущее нации. Так что, делайте выводы сами. Без ложной скромности скажу, что моя коллекция самая-самая. И ничего подобного в мире нет, потому что за каждым лозунгом, призывом, карикатурой, угрозой, здравицей кроются подчас миллионы человеческих судеб. А вы говорите – марки...

Человек грузно уселся на стул, возложил ногу на ногу, демонстрируя нечищенную обувь, и мечтательно принялся повествовать, явив мне ни с чем не сообразные в его внешности чистые здоровые зубы.

– Примерно десять лет назад я начал читать лекции по политологии в одном престижном гуманитарном заведении и впервые столкнулся на практике с тем эффектом, который производят на людей лозунги... Непередаваемое ощущение рождается в душе каждого лектора, сталкивающегося с преподаванием психоделических дисциплин, а я читал тогда курс «Истории лозунга». Какой там психоанализ! Начинаешь чувствовать себя Наполеоном или Чингиз-ханом. Ощущаешь, что за считанные часы лекций вторгаешься в самую сердцевину подвижной человеческой воли и веры, лепишь массовое мнение, стоишь у истоков общественной морали, создаешь собственными руками то, что впоследствии облекается в тяжелые одежды проходной фразы: «Принято считать». Я проводил семинары по моделированию диктатуры и демократии. Это непередаваемое ощущение!!! Я занялся позже историей и психологией идеологии и преуспел настолько, что начал внушать страх руководству, и оно вскоре нашло удачный повод избавиться от меня. Компетентность – большой грех в нашем ветхозаветном обществе. И теперь я – вольный собиратель лозунгов! – он хлопнул себя ладонями в грудь и развел руки, обводя меня телеметрическим взглядом.

– У вас есть мечта? – спросил я, неожиданно загрузив.

– Конечно. Подыскать визитную карточку для всей истории рода людского. Да! Чуть не забыл, так вы будете что-нибудь покупать?

– Найдите мне, пожалуйста, что-нибудь тенденциозное, агрессивное, лаконичное и эгоистическое.

Человек немного помялся, придавая своему телу неряшливые позы, неудобные даже для постороннего глаза, высунул длинный язык и принялся вновь волхвовать над огромным кляссером.

– Это не подходит для детской комнаты. Но, если вы и впрямь отважный человек, повесьте это над входом в жилище и вы защитите себя от многих напастей, – и он указал грязным скрюченным пальцем в середину листа кляссера, приглашая меня любоваться своим предложением, будто полотном даровитого живописца:

#### Принимаю всю мораль на себя

– Чудесно, я покупаю у вас это гениальное творение.

– Тогда благоволите отсчитать тридцать серебряников в неконвертируемой валюте, – лукавил бывший лектор, демонстрируя белоснежную улыбку. Я забрался в свой кошелек из крокодиловой кожи, а человек вынес из своего хранилища свернутое красное полотнище с синими буквами. Мне на ресницы попала оппортунистически настроенная моль.

– Успехов! – протянул руку.

– Лозунгов вам! – ответил я, пожав руку и катая по глазу идеологизированную моль (...)

«Мы все, даже дети, являемся моральными философами». [Л. Кольберг.]

«Язык – величайший деспот; он является вождем того полчища «навязчивых идей», которое выступает в поход против нас. И язык так же, как и мысль, должен стать твоей собственностью». [Макс Штирнер.]

Я подумал и вспомнил еще нечто, отчего сделалось легче и просторнее.

«Время – это побочный продукт желаний. Чем больше вы желаете, тем больше вам нужно времени». [Шри Раджнеш.]

«Раскаяние очень часто является аффектом, гложущим и связывающим душу; аффектом, который в тот самый момент, когда он указывает необходимость изменения, отнимает силы, нужные для этого». [Георг Зиммель.]

Чем ты грязнее, тем приятнее отмываться.

Ничто так не сдерживает нашего развития, как наши принципы.

Если бы в мире в один прекрасный день установилась абсолютная справедливость, то мир перестал бы существовать как явление.

Слово «нравственность» всегда возникает там, где один человек стремится обуздать другого и не имеет для этого физических возможностей.

Я не против морали. Просто я всегда хочу точно знать, откуда она рождается и как приходит в мир.

К правде стремятся, как правило, те, кто не умеет обращаться с ложью или воспринимать последнюю как явление эстетического порядка.

Все великие народы выродились из-за недостатка величия в самых элементарных вопросах, чаще всего – связанных с личной жизнью.

Наше счастье – это всего лишь представление о нем (...)

Привкус съеденного каннибала исчез, но появилась резь в желудке, как будто меня насильственно накормили толчеными алмазами. Я помял в руке сверток с лозунгом с такой силой, будто надеялся выдавить сок из этого материализованного



неверия, а удовлетворение своей афористической потребности я окончательно канонизировал до уровня физиологического акта.

Мое занимательное двуцветное сине-красное путешествие сквозь язык в поисках драгоценного Слова продолжается.

«Возможность вреда от истины не служит возражением против нее». [Гарнак.]

Сегодня в красном углу ринга наступательные глаголы, а в синем – оборонительные.

Все сфабрикованные ощущения, однако, моментально растворились, едва я вновь не угодил под автомобиль скорой помощи, который, наверное, с самого утра возил искалеченных на утренней демонстрации. Едкая ругань коснулась ушей, и я посмотрел на себя как бы со стороны, маленькой кляксой затерявшегося меж кордонами скачущих полицейских. Их прозрачные пластиковые забрала и щиты гнали меня прочь из одной толпы в другую. Жуткий запах краски в предвещии листовок со множеством грамматических ошибок заставил меня обернуться на чумазых безумцев с какими-то революционными лицами, подкрашенными румяным исступлением. Меня за что-то агитировали две насекомообразные женщины, страдающие приторными акцентами, но моя высокомерная улыбка и витиеватые речи отогнали их прочь. Бунтари никогда не любили людей с хорошими манерами, ни вчера, ни сегодня. Поперек улицы, будто натянутые на бельевую верёвку, стояли глашатаи, демагоги и поэты, облепленные с головы до ног неряшливыми буквами плакатов, призывающих «За...». Я никак не мог разглядеть, за что именно. Воззрившись на гадкий внешний вид агитаторов и их прокламаций, содержащих максимум язвительных выпадов против всех утопических концепций, я явственно услышал, как заворочались в гробу создатели оных.

При слове «революция» мне всегда видятся грязные нижние юбки, элегантно отороченные свежей кровью.

Я шествовал от одного оратора к другому, внимая каждому в течение одного и того же отрететированного промежуточного времени, необходимого для краткого лингвистического анализа речей. Разогнав шагами живой настил грязных площадных голубей, сопутствующих, кажется, любым человеческим бдениям, убедился в нижеследующем: каждый из крикунов страдал персональным дефектом речи, уродуя определённый звук или букву. Я бодро шел сквозь искалеченный произношениями алфавит, который качался от ветра в такт гроздьям некалиброванных зеваяк, свисающих с балконов ближайших домов. Каждое растение имеет своего паразита, и каждая буква тоже. Я проворно втянул голову в плечи, боясь лингвистической инфлуэнции от гуляющего на улице сквозняка правдолюбцев. Простудишься – и начнёшь изъясняться как вульгарный бунтарь. А я не бунтарь.

Бунты – это форма эмоционального досуга всех диких людей. Тысячи одинаковых занавесок на окнах, тысячи одинаковых лиц, поглощенных одной секундой настоящего, тысячи одинаковых страниц человеческой истории, тысячи тысяч одинаковых голов из-под тысяч одинаковых топоров.

Человечество достойно своих страданий. Человечество героически сносит страдания, причиненные им самому себе, и кичится этим героизмом, пользуясь лживыми устами гуманистов и моралистов. Человечество всегда героично ровно настолько, насколько ему не достает ума и такта не причинять себе эти страдания. То же в равной степени справедливо и для отдельно взятых народов и индивидов. Если народ или отдельные личности героически выносят голод, нищету, несправедливость, то не следует восхищаться их героизмом. Нужно удивляться недостатку их элементарного здравого смысла. Можно быть героем и в быту, если больше нигде.

Люди, терпите и дальше! Терпение – это оглушающий животный атавизм, укрепленный христианскими догмами.

То была самая длинная улица в городе, которая заканчивалась на огромной круглой площади в старой его части, где давно уже возводился монумент и где жил я...

Не замечаю пестрого нервного варева нынешнего дня, потому что всю оставшуюся жизнь я проживу 1 июня 1992 года.

Мне чертовски надоело таиться в смиренности, и я оттолкнул от себя очередного прихлебателя демократии, лицо которого в своей невыразительности походило на ртутную каплю. Беспомощно копошась в карманах дешевого костюма, он агитировал меня помочь деньгами и теплыми вещами каким-то дикарям, которые плодились в количествах, пропорциональных геометрической прогрессии.

– Выживание народа должно беспокоить только его самого! – крикнул я, ударив ладонью по деревянной копилке, висевшей у него на груди так, что некоторые черты лица агитатора отвалились. Несчастный иллюминат современной эпохи! Почему все агитаторы имеют откровенно гадкий вид, независимо от того, за что они агитируют? Очевидно, это особая порода людей, живущая соками разницы нравственных курсов.

Они кричат: «Свобода, Равенство, Братство!...» По-моему, просто кто-то из них подсмотрев эту надпись над входом в ад.

Широкоформатный пульсирующий карнавал звуков, красок, огней, слов и порывов мчался мимо меня, распирая улицу, похожую на грандиозное ущелье, увитое взбунтовавшейся растительностью. Я вижу, как на моих глазах, прорываясь сквозь камень, штукатурку и стекло витрин, откуда-то из глубин домов прорастают мемориальные траурные доски со скороспелой позолотой новых имен и дел. Подобно хищным побегам гигантского растения, они множатся с пиротехнической быстротой, образуя целые твердокаменные гнездовья. А позолота старых мраморных досок стремительно тускнеет, чернеет и осыпается, мешаясь с плевками и тротуарной грязью. Каменными почками набухают статуи в просторных уличных перекрестьях, и, будто песочные колоссы, рассыпаются старые монументы отслужившим вождям, забытым делам и износившимся нравственным категориям. На противоположных сторонах улиц множатся общества, ассоциации, комиссии и союзы по борьбе и защите, претворению и пресечению, уничтожению последствий и реабилитации неких феноменов.

Помогаю подняться из перламутровой лужи добродушному толстому снобу.

– Я нашел, нашел! – кричит он, путаясь в одышке и длинном клетчатом плаще. Я стряхиваю с него грязь. Душевный человек, он прославился газетными репортажами о жизни падших женщин, беспризорных стариков, половых извращенцев, кудесников теневого бизнеса, инвалидов войны, лидеров неприсоединения и иных злободневных явлений. Толпа осипших крикунов с неподъемными транспарантами уронила в грязь преуспевающего газетного репортера, и тот вспомнил про...

...Бога.

Безумный вопль ликования переполнил улицу. Про Бога вспомнили так кстати, что вмиг богословские статьи в бульварных журналах стали самым популярным чтивом.

– Я нашел, нашел новый сюжет! – кричал он, утопая в водовороте голов и поднятых к пустоте рук...

Растолкав пестрые юбки и перепачканные пиджаки, поскользнувшись на засаленном флаге неопределенного цвета и получив освежающий удар под ребра, я прошел улицу, точно перекрестие снайперского прицела. Подгоняемый барабанной дробью сердцебиения, я вновь удержался от искушения посетить заведение с ядовитой размашистой надписью:

### Этическая консультация

И протиснулся в соседнюю дверь с не менее примечательной надписью:

### Комиссия по частному предпринимательству

Оказавшись по горло в теплом шепоте, что исповедовался в доходах, и разглядев на стене тарифы на частный извоз, подошел к канцелярскому столу. Прервал беседу ярко одетой надушенной дамы и конторщика, не имевшего никаких внешних персональных отличий, так как весь с головы до ног был в опечатках. Я громко хлопнул каблуками и, опершись рукой на скрипящий стол, кровожадно улыбнулся маленькому функционеру.

– Здравствуйте, хочу получить патент на юродство, – сказал я по слогам. Смутьившаяся дама с ужасом посмотрела на меня и уселась на стул плотнее, подобрав многочисленные юбки. Конторщик переспросил, отводя от себя мой пристальный взгляд. Я повторил чуть громче. Он принялся перебирать бумаги, запутавшись в номерах циркуляров и стоически ёрзая на стуле.

– Видите ли, впервые слышу... У вас такое необычное дело. Нужно бы отложить.

– Юродство нигде официально не запрещено. Следовательно, я имею право получить бумагу о том, что я узаконенный юродивый. Можно то, что не запрещено.

– Это что-то очень новое...

– Это что-то очень старое...

– Ну, что ж, если вы так настаиваете... Пожалуйста, вот ваши документы, – согласился конторщик, заслушав новые вопли, скрежет и хруст, доносившиеся с улицы.

За небольшую плату и символический ежемесячный налог я сделался обладателем патента на юродство (!!!)

Моя забористая улыбка усилила страхи дамы, забившейся в стул с видом кроткой послушницы, а конторщик выразительно посмотрел на меня и, прощаясь, добавил:

– Пожалуйста, не забывайте своевременно уплачивать налог.

Я вышел на улицу, приятно ощущая во внутреннем кармане пиджака еще теплый документ, и, забравшись на первый попавшийся заваленный газетный киоск, произнес, копируя голос диктора телевидения. При этом тысячи голов моментально обратились ко мне, очевидно, приняв мою персону за официальное лицо.

– Государство смотрело ошалелыми глазами цензуры на ВСЕ им содеянное и топталось на месте, продолжая чудодействовать в области сельского хозяйства и по старинке запускать ракеты в космос. Ни идеологии, ни финансов, ни экономики, ни искусства, ни морали! Ни нового человека, ни религии, ни будущего, ни здоровья, ни прошлого! Одна лишь печаль в глазах у всех, от дворника до министра. Материализованное торжество самой светлой идеи Человечества. Спи спокойно, друг человечества Томас Мор, и остальные тоже. Нищета уравнила всех!

Тут я склонил голову, будто на гражданской панихиде, и услышал гулкую тишину над улицей, какой не слышал никогда.

Сделав паузу, я поднял руку, как истый руководитель масс, и оживился вновь:

– Серую жизнь создают только серые люди. Все сетования на серую жизнь есть напраслина на жизнь как таковую. Серая жизнь не оправдание серых людей, а их законное детище.

Тут опомнившийся краснолицый полицейский стащил меня с трибуны, вцепившись в запястье, и нервно спросил:

– Кто вы такой?

– Юродивый, – ответил я, манерно поправляя пестрый галстук, и протянул патент. Полицейский осмотрел бумагу, предельно вывернул голову при изучении круглой печати и, просяив, отдал мне ее назад, выкрикивая в толпу:

– Все в порядке! Это юродивый!

Толпа тут же забыла обо мне, занявшись своим привычным бесцельным времяпрепровождением.

«Безнравственно требовать от человека быть нравственным, если нет минимума жизненных условий для того, чтобы от человека можно было требовать нравственности». [А. А. Зиновьев.]

Мой еретический триумф был отмечен динамичной композицией в стиле рок. Музыка вылилась на улицу из какого-то окна, будто кипяток. Эта музыка вдыхает в меня жизнь, обостряя и оттачивая инстинкты даже тогда, когда по логике вещей жизни уже нечего делать в моем теле, затравленном обстоятельствами и злыми чудесами. Всего несколько унций музыки, и я снова жив.

Триумфальный симбиоз тотальной идеологии, сексуальной революции, рок-музыки и средств информатики навечно оторвал нас от всех эпох. Отныне нас больше не с кем сравнивать. Мы поколение обособленных, и все премудрые любители исторических аналогий должны быть преданы анафеме.

Я посмотрел в глаза небритому разбойнику, который грабил хорошо одетого человека, и, пощупав бицепсы мошеника, галантно улыбнулся, сказав:

– Здравствуй, Дарвин, спасибо за теорию.

Грабитель совершенно опешил, вперив в меня трапециевидные очи, и выронил краденый кошелек в грязь. А несчастный, воспользовавшись замешательством обидчика, бежал прочь, кутаясь в интеллигентные угрозы.

– Будешь там, пожалуйста, передай от меня привет Ломброзо и Мальтусу, – добавил я, поправляя одной рукой засаленный ворот сорочки окаменевшего вора, а второй показывая на неровно разбросанные пыльные облака.

Не страшно жить уродом среди здоровых людей: тебе помогут стать здоровым люди, которые на все смотрят с высоты собственного здоровья. Гораздо страшнее жить здоровым человеком среди уродов, ибо тебе помогут стать уродом те, кто смотрит на все изнутри собственного уродства.

Чувство такта в нашу эпоху выражается в том, чтобы успевать опускаться вместе со всеми.

В состоянии разъедающей моральной усталости, которая намяла мозоль на моем воображении, я добрался до своего дома. Очередной выход рейдера во вражеские территориальные воды увенчался успехом, ведь мне удалось потопить еще нескольких расхожих истин. Холодный душ, чашка кофе и два стакана красного вина – так я отпраздновал победу, а лазерный цифровой проигрыватель исполнил в мою честь мажорный марш сорвавшихся с цепи синтезаторов. Подсчет убитых и добычи завершил краткое пиршество красным и синим столбцами в блокноте.

Я посмотрел в окно, отгоняя от лица назойливых солнечных зайчиков, словно отголоски цветного сна, и снова в самой сердцевине площади увидел гигантскую копошащуюся опухоль строительных лесов вокруг нарождающегося символа эпохи.

Бутоны электросварки, бледные на солнце, тысячи звуков и движений, ярких в акустической лакуне площади, казалось, вот-вот исторгнут из своего чрева великолепное сооружение, и все строительные леса опадут, будто океанская пена, обнажив творение, но...

...я уже слишком привык к такому кровососущему ожиданию, ибо не только эта стройка, но и вся жизнь моего поколения была пронизана им насквозь. Ему нет аналогов в утопической литературе. Но за жуткий аромат я назвал его

Великое обещание.

Идею о всеобщем Счастье, Равенстве и Братстве использовали в качестве заложницы, и результаты эксперимента превзошли все ожидания.

«Идея была проведена в жизнь на половине земного шара самыми жестокими методами, какие когда-либо знало человечество, методами, которые являются разрушительными для самой идеи, но, разумеется, возводящими действие в крайнюю степень». [Освальд Мосли.]

Зуд буквально вспорол мне правую ладонь, и я понял, что только рукоять реактивного ружья уняла бы его. Но пластическая фантазия уже совершила действие, подобное точному броску снаряда в мягкие заросли строительных лесов.

Повесив над входом в квартиру плакат

Принимаю всю мораль на себя

я обшарил карманы и обнаружил телефон Варвары, что заставило все мои чувства передвинуться ближе к коже и сетчатке глаз. Ведьма – это, пожалуй, то, что мне сейчас нужно.

– Алло, Варвара? – спросил я, проваливаясь всем своим ожидающим существом сквозь телефонную мембрану.

– Да... – был мне ватный кокетливый ответ.

– Здравствуйте! Вас беспокоят из «Общества по изучению и охране четвертичного периода», – приободрился я, вытягиваясь в кресле и потеряв один тапок с ноги.

– Кто это? – и веселый ласковый голос, кажется, ухватил меня за ухо мягкими губами.

– Фома Неверующий, ученый секретарь вышеупомянутого общества.

Она рассмеялась еще больше, а я, будто голодный хищник, ждал, когда оборвутся ее ровные дивные смехи, чтобы вонзиться зубами в последний.

– Чем ты занимаешься?

– Готовлюсь ночью полететь на метле.

– Чудесно! У меня встречное предложение: провести совместный спиритический сеанс или, в худшем случае, испортить урожай фиников 2001 года.

Она рассмеялась еще и еще, а я извертелся в кресле и перепортил все прилагательные, стоило мне подтянуть к месту событий свои монстрообразные комплименты. Логарифмическая сетка обоев отфильтровала часть из них, и пришлось увлечь в бой все домашние заготовки галантности.

– Несравненная, вчера был убит один знакомый мелкий бес из ревности к Вам. Я просыпаюсь по ночам, мучимый запахом ваших духов, и если сегодня мне не суждено будет лицезреть Ваши черты, я запишусь рекрутом на абиссинскую войну, ибо только цвет фонтанирующей крови сможет заслонить цвет ваших сахарных губ.

– Сударь, я испортила все урожаи фиников на сто лет вперед, но к медиумическому трансу с вашим участием безучастной остаться не могу. Что касается абиссинской войны, то стоит ли негус вашей благородной крови?

– Значит, если Вас правильно понял, я могу провести предполетную подготовку Вашей метлы?

- Можешь.
- Очаровательнейшая из ведьм, благоволите обозначить место и время.
- Часов после семи. Улица Безбожная, дом девятнадцать, квартира двадцать восемь.
- Осмелюсь поинтересоваться, а в классических смокингах к Вам допускают?
- Допускают.
- Тогда до встречи, – промолвил я, втискивая воздушный поцелуй в телефонную трубку. У меня было чувство, будто я только что родился царем...

...а впрочем, обычное, человекоемкое. Вероятно, все мужчины в этот момент испытывают одно и то же. В этом и кроется источник силы, и ее легкая, почти животная узнаваемость.

Для торжественных случаев в моем гардеробе есть великолепный этолийский смокинг с отворотами из фригийского атласа. Запонки я предпочитаю аксумские из крапчатого оникса. Черная парфянская сатиновая бабочка. Белый нагрудный платок с монограммой «Ф. Н.» Защитные очки с темно-синими поднимающимися стеклами. Легкий одеколон из Сиама. Я небрежно скомкал все время до семи часов так, как будто был вечным. Безупречной формы молочно-белые розы, бутылка коллекционного эбвейского шампанского.

Наконец я ступил в тень подъезда на Безбожной улице, которую надумали переименовать как раз в восьмом часу вечера, судя по скоплению рабочих в форменных комбинезонах, что примеряли таблички с разными названиями к грубому оштукатуренному углу дома. Добротное строение времен Нерона с высокими потолками дохнуло на меня влажной тишиной обширного полутемного парадного. Я устремился на поиски цифры «28», и она дала себя высчитать на четвертом этаже. Лукавый Эрос неокрепшей детской рукой прилаживал крылья за моей спиной. Я нажал кнопку электрического звонка. Секунды одна за другой помчались вслед за стуком в висках, но очень скоро отстали. Где-то заиграло радио с кляпом во рту, цедя из себя номенклатурные звуки. Я вытянул шею, чувствуя полосы сквозняка, потянувшегося из-за двери. Мякнула кошка и вместе с иными домашними звуками исчезла на фоне шума в ушах. Из-за двери номер «28» тянуло ледниковой ненаселенной пустотой. Ни одного типично женского интригующего запаха, полного содержанием обитательницы жилища. Я наклонил продолговатую от ожидания голову, и наконец легкое шипение в обрамлении поскрипывания натянутых пружин окончательно свело меня с ума, когда дверь, властно повернувшись замками, открылась.

В

## § 11

одной незабвенной детской драке мне попали камнем в глаз, и я навсегда запомнил кадры стремительно приближающегося предмета, от которого не в силах был увернуться.

Сейчас было то же самое.

Я не успел увернуться, и мне показалось, что все мои нервные волокна освеживали и обмотали стерильной ватой.

Напротив двери в инвалидной коляске сидела огромная кукла без ног с неправдоподобно розовой кожей на голове, на которой не было ничего, кроме рта.

– Вы к кому? – был мне вопрос, заданный с изумительной дикцией.

– ...

– Почему вы молчите?

– Извините, а Варвара, здесь..?

– Ах, вы к ведьме... Вы, верно, с цветами и шампанским? Извините, что испортил вам настроение, но Варвара живет двумя этажами выше, Дело, видите ли, в том, что у нас в подъезде две двадцать восьмых квартиры. Моя – на четвертом, и ее – на шестом, – сказала существо и втянуло воздух через две неприметные дырочки на лице, которые раньше были носом. Вместо глаз было две ровных тени. Я всецело поддался чарующей мистике голоса этого создания, которое еще совсем недавно было красивым юношей с гордой величественной осанкой и чувственными губами.

– Что-то еще? – спросил человек и напряг свои красивые руки на рычагах допотопной коляски.

– Я действительно иду к Варваре, действительно несу цветы и шампанское. Я ее новый приятель. Приношу свои извинения за то, что обеспокоил вас, но, однако же, почему вы назвали ее ведьмой?

– Да это я так, она, в общем, милая девица, и мы с ней ладим. Только она иногда заявляет на меня в полицию, потому что я, видите ли, отпугиваю ее многочисленных друзей, у которых, очевидно, после встречи со мной происходит резкое снижение мужских способностей. Но ведь я не виноват в том, что у нас в подъезде все номера квартир пятого и шестого этажей в точности повторяют номера квартир третьего и четвертого. Просто сначала дом был четырехэтажным, а после Второй Пунической войны достроили еще два этажа, – молодой человек вдруг замолчал, немного подергав культиями, облизнулся и, отвернув голову в сторону, добавил: – Ну, ладно, идите и не осрамите мужское племя.

И какая-то невыразимая боль, страстно заталкиваемая внутрь, вдруг зацепилась за последние два слова и сделала их неуклюжими, как и само понятие, мимо которого он хотел пройти с непринуженной легкостью.

– Ну, что вы стоите? Или уходите, или заходите, – сказал он, откинувшись в коляске всем телом так, что вновь заскрипели пружины. И я вновь некстати вспомнил полет камня, стремительно летящего к глазу. И, в который раз зажмурившись от боли, давно причиненной камнем, прошел в квартиру.

Моего нечаянного собеседника звали Николай, у него была восхитительная старинная фамилия Акинфиев. В нашем неспешном разговоре он несколько раз обронил «меня звали», причем вполне сознательно. В его речах, полных оттенков, звучало много глаголов прошедшего времени. А когда он брался оперировать конструкциями времени настоящего, они всецело относились к описанию его психических состояний. Что касается будущего, то в разговоре он безоглядно отдал его мне как гостю и сделал это с замечательным смиренным тактом.

Я обвел глазами жилище Николая и испытал нечто вроде эстетического шока. Виденное мною превзошло все ожидания, и я мысленно проклял тот ледяной сквозняк за обман. Дорогая мебель в стиле александрийского модерна с тонкой резьбой и инкрустациями; множество расписной посуды, выглядывающей из-за тонированных стекол серванта, похожего на орган; портреты, ковры, книги – все без исключения свидетельствовало о полнокровном цветении духовной и физической жизни фамилии, что сильными корнями уходила в глубь времен и событий и смысленными дерзкими побегами обращена была навстречу будущему. Одни только взбитые усы военных в парадных мундирах и ласковые задумчивые взгляды дам в воздушных бальных платьях, изумительно соединенные на многих семейных портретах, дополняли забытый колорит державной эпохи, так что мне моментально сделалось стыдно за неухоженные могилы моих предков. Былое величие сильно действует на будничность, и лишь по прошествии времени, постепенно отделяясь от аффекта, с неумолимой дотошностью начинаешь видеть неубранную пыль, трещины, сколы, паутину, запущенность. На этом фоне сразу делается не так обидно за свою душевную неказистость, которая только и ищет собственного извинения в чужой слабине.

Николай выехал на середину комнаты на своем нелепом техническом приспособлении и, уверенно указав на стену, вновь убрался в угол. Таким образом, я оказался один на один с моим изумлением.

– Благоволите посмотреть, это ваш покорный слуга в возрасте осьмнадцати лет.

Я не понял, куда мне следует пристроить свои вконец заблудившиеся глаза, но, повинувшись некоему путеводному дуновению, очутился взглядом на небольшом черно-белом фото. Не знаю почему, но я сразу же сравнил его фото с портретом молодого Генриха фон Клейста. Красивое, даже женственное, лицо, начисто лишённое страстей и покоящееся в само-достаточной безмятежности.

Мне сразу же бросилась в уши изящная речь Николая. Я бережно взял его слова на руки и, положив их затем в свой блокнот между красными и синими столбцами, увидел точные идиограммы.

Я сидел на стуле в состоянии метафизического нокаута и покорно впитывал рассказ о чужой судьбе, восхищаясь торжественной пошлостью жизни, с которой она методично срезала здоровые побеги с сильного ветвистого генеалогического древа Акинфиевых. Рассказ был короток.

Николай заговорил с неожиданно паранормальной лаконичностью – он последний мужчина во всей династии, точнее, то, что от мужчины осталось...

– Я сдавал вступительные экзамены в институт и не добрал одного балла...

Мне снизили отметку за сочинение...

Я поставил в тексте одну лишнюю запятую...

Тогда меня взяли в армию...

Я попал на войну, о которой не знал никто...

Хотя никакой войны для меня не было...

Мы двигались в наступление на бронетранспортерах...

Неровная гряда гор – это последнее, что я видел в жизни...

Наши артиллеристы ошиблись...

Когда по телефону передавали координаты объекта, где находились абиссинские повстанцы, кто-то случайно спутал одну цифру...

Мы двигались колонной в километре от объекта...

Первый же снаряд угодил в наш бронетранспортер...

У меня никакой войны не было...

Я единственный, кто уцелел из всех...

Хотя слово «уцелел» здесь уже не при чем...

Меня нашли случайно, в обломках...

Больше ничего не помню...

Когда я очнулся в госпитале, то вспомнил, что видел во тьме только одну ту запятую, которая разделяла два мира. Зрячий и слепой...

Когда я окончательно пришел в себя, за меня ИЗВИНИЛИСЬ...

Теперь я здесь...

Я сижу здесь и все...

Слушаю радио...

Теперь по этому радио ИЗВИНИЛИСЬ ЗА НАС ВСЕХ СКОПОМ...

Сказали, что все это было зря...

Если кто-нибудь еще раз за меня извинится, я покончу с собой...

Не понимаю, на чем я держусь. Но точно чувствую, что извинения убивают это...

Фома, выключи, пожалуйста, радио. Сейчас будет передача, в которой очень часто извиняются...

Ну, ладно, иди к Варваре, она тебя ждет, выключи радио и иди...

Я ушел.

Я нес в мозгу одну стремительную мысль мощностью в несколько киловатт: неужели в штатном расписании Бога пункт о защите Николая Акинфиева отсутствует?

Я получил еще одну прививку Неверия.

Теперь это – мое несметное богатство.

(.....)

Я знал твердо, что сюда вернусь.

Человеком, Богом, злым духом – мне все равно (...)

Из-за близости руки температура шампанского приблизилась к температуре тела, и я обглодал ногтями все стебли цветов.

Сделав новый налет на цифру «28», где-то между четвертым и шестым этажами на лестнице, я заметил лежащий бактерицидный пластырь.

«Единственная ценность ума состоит в том, что он устанавливает цепь случайностей». [Альфред Розенберг.]

«Логика начинается, когда кончается идеология». [Х. И. Либер, Х. Бютов.]

«Кульť является системой знаков, при помощи которых вера передается дальше, и собранием средств, при помощи которых она периодически производится и воспроизводится». [Эмиль Дюркгейм.]

Багрово-напалмовый закат сочился сквозь окна, когда я коснулся устами лавандового запаха узкой руки Варвары. И мне показалось, что все небо терпеливо прижалось мягкими краями к моему кипящему лбу.

Сердцу не прикажешь...

...потому что это просто насос.

Я смотрю на восхитительное лицо, точно вписавшееся в мой интеллигентный канон красоты. Длинные картинно вьющиеся волосы. Глаза будто просыпанная голубая пудра. Замысловатое одеяние в сочной гамме красных, черных и малахитовых лоскутьев легкой дорогой ткани мастерски хранит очертания декольте и математически безупречную линию ноги. У ведьмы бронзовый век, судя по ее многочисленным украшениям. Разумеется, к ним я буду присматриваться позже.

– Примите цветы из скалистых ущелий моего аскетизма!

– Спасибо, надеюсь, собирая их, вы не поранились о выступы камней?

– Нет, что вы. Ну, а с этой бутылкой шампанского, полагаю, ваша морозильная камера справится быстро.

Тряхнув бриолином, я проследовал внутрь квартиры. Розы опустили израненные стебли в черную вазу. Слабое освещение преподнесло взору гравюрообразную вневременную дамскую обстановку. Однако, к моему беспредельному удивлению в мешанине дьявольского имущества я заметил новейший нумидийский компьютер со множеством периферийной техники, включая цветной лазерный принтер, ксерокс, телефакс, дигитайзер, автоматический сканер и даже плотер формата А3. Но окончательно добило меня наличие цифрового спиритоскопа и лазерного психографа византийского производства, о существовании коих я знал лишь из технических каталогов. Тем не менее, никакого ошеломления не вызвали доисторический кинетоскоп, фонограф и планшетка с зеркалом для наблюдения феноменов ясновидения с приспособлением для пишущего медиума, а также экстрасенсорный тренажер. А в кожаном кресле лежал затертый хрустальный шар с одетой на него легкомысленной шляпкой. Трехдюймовые дискетки лежали вперемежку с дорогой косметикой из Эпира, восковые фигурки с воткнутыми в них иглами проклятия, а чубук слоновой кости с резьбой в виде фаллических символов соседствовал с учебником по прикладной пневматологии и кодами цифровой порчи, выписанными на упаковочный лист от колготок. На книжном шкафу красного дерева стояло блюдо с подкрашенной водой, а внутри, рядом с книгами по демонологической телеметрии и Большой библиотекой компьютерных вирусов, я увидел sentimentальное дамское чтиво в мягких обложках, указатели по алхимии, астрологии, оккультной ботанике, герметической медицине, гипнотизму, магии, а также два модных журнала. Присмотрелся внимательнее: трактаты Христиана Баумейстера, Джона Порреджа, Аврелия Филлиппа Теофраста Парацельса, Станислава де-Гуэты, многочисленные журналы и отчеты обществ с характерными названиями «Оттуда», «Смелые мысли», «Ментализм», «Голос всеобщей любви», «Вестник оккультизма», «Вестник магнетизма», «Вопросы психизма» и невесть что еще.

На ломберном столике был виден пасьянс, застывший во всей многоцветной красоте. На стене висит астрологическая карта хозяйки, испещренная диковинными пометками, отчего уподобляется карте военных действий. А под ней, выглядывающая из хитроумного тела, содержащего несколько взаимопереплетенных сосудов, бодрствует воскурение, которое распускает всюду полупрозрачные кудри фиолетового мистического благовония. На стенах прелестительные миниатюры всех времен и народов, и на каждой из них присутствовала растрепанная женщина.

– Сатанинствовать – так в ногу со временем, – смеется Варвара в такт кольцам вздымающихся благовоний и, подхватив мой локоть, усаживает меня в кресло.

– Поразительно, что ты не держишь в доме никакой живности, скажем, кота, попугая или обезьянки.

– «Живности» здесь и так предостаточно: сюда являются духи умерших мистиков, пророков, царей и святых.

– Странно, что все помещаются, – заметил я, аккуратно подергивая бахрому рубиново-бархатной скатерти на огромном столе, подвешенном к потолку на черных заскорузлых цепях.

– А где твоя метла?

– Где ей и положено быть: в прихожей. Не таскать же грязь по всей квартире, – лукавит Варвара, являясь мне сущей досадой во плоти. Она смеется тем обескураживающим смехом, внимая которому, невольно представляешь себе длинные женские ноги в черных чулках с опрятными красными бантами на подвязках и больше ничего, ни внутри себя, ни вокруг во всей вселенной.

Я хрустнул запястьями, с удовольствием осматривая бесовскую утварь, и спросил:

– А почему ты ведьма?

– А почему ты Фома Неверующий?

– Я Фома по наследству.

– А я ведьма по наследству. Ну, ладно, давай выпьем шампанского, – и она выставила на стол два фужера.

Я не дал бутылки шампанского проявить свою краткую спесь, свернув ей голову, и мы долго наслаждались искристым напитком, пропуская сквозь себя каждый озорной шарик жемчужной пены. Мы два классических слушника официальной истории.

- Мы будем заниматься спиритизмом?
- Да, пожалуйста, – говорит она с тонко выделанным женским послушанием.
- На этом жутком византийском приспособлении?
- Да.
- А как оно действует?
- Очень просто. Присаживайся, сейчас я тебе покажу.

Она развернула довольно большой клеенчатый лист, расстелив его на столе, и я без труда увидел большой спиритический круг с нарисованными буквами и цифрами, восклицательным и вопросительным знаками. Из клеенки, оказавшейся вдруг многослойной, с краю торчали несколько проводов со стандартными разъемами, к которым Варвара заученными движениями легко подключила плоский пенал с источником питания и жидкокристаллическим экраном.

- Потрясающе! – с неподдельным восхищением хлопнул я себя по коленям.
- Смотри, вот здесь, в спиритическое блюдце возле метки, которая во время сеанса указывает буквы, вмонтирован пассивный датчик. Дальше все, как в обычном спиритическом сеансе: мы кладем блюдце на клеенку, садимся с тобой рядом и возлагаем пальцы твоей правой и моей левой рук на блюдце. Я сосредоточиваюсь, вызываю духа, он проникает в блюдце, которое начинает двигаться по кругу. Затем, когда дух показывает таким образом, что он пришел, начинается сам сеанс. Мы задаем вопрос устно, а блюдце бежит по кругу, указывая меткой на буквы, и их последовательность образует ответ духа. В клеенку под каждой буквой или цифрой вделан плоский активный датчик, соединенный тончайшими проводами с коммутирующим устройством в пенале. При прохождении пассивного датчика блюдца над активным датчиком в клеенке на последнем возникает электрический сигнал, который поступает по проводам на центральное устройство, где он запоминается, кодируется и высвечивается на жидкокристаллическом экране. Буква за буквой – и ты легко читаешь ответ духа. Так что, как видишь, автоматизированное общение с потусторонним миром гораздо производительнее, чем ручное, когда самому приходится в памяти составлять из отдельных букв связанные членораздельные ответы.

Эта короткая лекция, прочитанная безо всякого кокетства, а как холодная нотация лектора научного общества, раздосадовала во мне мужчину, но Варвара как-то очень кстати, исподволь сказала «милый», и я успокоился уже совершенно.

- Садись рядом со мной. Кого ты хочешь вызвать? – спросила она, усаживаясь поудобнее и поправляя все цвета платья.

- Вызови Дестюта де Траси, – ответил я, небрежно усаживаясь рядом.
- А это еще кто такой?
- Этот человек двести лет тому назад изобрел дисциплину под названием «идеология», почему последние двести лет и оказались для человечества самыми кошмарными.
- Однако, ну и причуды у тебя... Вызвал бы Фрейда, Наполеона, как все, или

## § 12

Христа на худой конец.

- Фрейда, Наполеона или Христа пусть вызывают все легковверные, а я хочу поговорить с Дестютом де Траси. У меня есть к нему несколько вопросов.

- Ну что ж, будь по-твоему, Фома!

Мы возложили на блюдце наши разнополюсные пальцы одинаковой степени ухоженности, и защитный панцирь многомерной толстокожести который раз избавил меня от всяких сверхъестественных ощущений. Блюдце мгновенно наполнилось дышащей энергией, и, пробежав несколько победных кругов по спиритическому рингу, облепленному скользящими буквами, принялось старательными движениями мастерить слова. Я тцился сообщить своей руке максимум легкости, но блюдце, невзирая на ее тяжесть, и так сновало с замечательной проворностью. Дух был силен, и я почувствовал это тотчас же.

- Здравствуйте, мадемуазель Варвара! Здравствуйте, мосье Фома. Меня зовут Дестют де Траси.

Буквы весело мчались по табло, растекаясь своими телами по жидким кристаллам, и я быстро освоил это новейшее византийское устройство и уже совершенно не контролировал поведение блюдца на столе.

- Здравствуйте, господин де Траси. Как вы там себя чувствуете?

- Благодарю вас, прекрасно. А как вы там?

Это простое «там» вдруг моментально взбесило меня. Нет, не взбесило, просто я увидел гору трупов, а рядом – гору убитых разлагающихся слов.

- С тех пор, как вы подарили нам свое гениальное изобретение, мы чувствуем себя прекрасно.

- Что вы подразумеваете под «моим гениальным изобретением»?

Я едва не подавился от смеха, когда увидел кавычки на табло, ибо никак не ожидал от горсти микросхем такой неслыханной дерзости, как объяснение мне переносного смысла. Куда мы катимся с этой глобальной технократизацией?

- Я подразумеваю под «вашим гениальным изобретением» то, что вы разрешили словам безнаказанно убивать людей толпами.

- Мосье Фома, вы напрасно горячитесь. Я изобрел дисциплину, призванную изучать методологические основы всех наук и обеспечивать их объективное применение. А то, о чем вы говорите, существовало и до меня. Достопочтенные господа Бэкон, Гоббс, Руссо, Кант, Локк и Джефферсон также активно занимались изучением данной проблемы.

- Но слово «идеология» придумали вы. Скажите, разве вы не испытываете чувства отца, породившего тирана? У нас здесь часто проходят шумные процессы над изобретателями, плоды деятельности которых нашли широкое применение в военной сфере или были направлены против человечества.

– Позвольте трижды поправить вас, мосье Фома, ибо, во-первых, «испытывать чувства» для Нас не подходит; во-вторых, не чувства отца, а чувства крестного отца, ибо я крестил «идеологию», так как она родилась до меня, как я уже заметил; ну, а в-третьих, эти процессы в не менее шумной форме проходят и у Нас.

– Это филологическая казуистика, господин де Траси. Слова катятся по миру, словно взрывные волны, убивая, разбрасывая и калеча людей. Вы понимаете, о чем я говорю? И мне хочется знать ваше мнение о последствиях этого изобретения.

– Я изобрел науку для людей, и если эти люди извратили ее, то я не в силах отвечать за последствия. Я изобретал средство для многостороннего и непредвзятого отношения к действительности. А люди либо отталкивают, либо притягивают к себе эту действительность, деформируя ее и только прикрываясь названием, которое я выдумал. Ваша нынешняя идеология (будем ее называть так же, как и мое детище, хотя, не скрою, мне это неприятно) всего лишь средство для гипертрофации вашей извращенной чувственности. Чем сильнее ее влияние в обществе, тем сильнее развита эмоциональность мышления у членов этого общества и, увы, к сожалению, в ущерб анализу и чувству факта. Ваша идеология никогда не призывает думать, она всегда призывает верить и чувствовать. Повторяю, я придумывал средство для ума, но не для чувств.

– Миллионам убитых словами этого уже не понять.

– Нет, они это уже поняли, а вот вы, живущие, никак не поймете.

– У нас проходит заседание научного общества? – встала Варвара, так что мы оба осеклись. Я здесь, в этом мире, ощутил вдруг неумную тяжесть всего своего тела, а мой оппонент в царстве теней ослабил напор, отчего его земное вторжение сделалось менее энергичным и деятельным.

Я окинул взглядом комнату Варвары и подумал, что мир омерзительно симметричен. Нет ничего более похожего на духовный мир женщины, чем мир квартиры холостяка: то же разноречивое смешение драгоценных и пошлых предметов, понятий, и наоборот.

В начале жизни я думал, что миром правит справедливость; затем водрузил на постамент красоту; потом обожестил разум. Наконец, канонизировал силу; теперь я полагаю, что жизнью правит острота восприятия и интенсивность полноценных эмоций. Что дальше ждет меня на пути беспощадных превращений мировоззрения?

На лбу проступил пот. Даже у абстрактного мудрствования есть свои земные изъяны и несовершенства.

– Простите, господин де Траси, просто мое Неверие стало давать трещины.

– Не беспокойтесь, мосье Фома, все будет хорошо, говорю вам как отец, крестивший тирана. Человек не ошибается, пока он стремится. Не стоит прикрываться космическими идеями и вселенскими ценностями, если не способен красиво сервировать завтрак. История всеядна: она с очевидным удовольствием пожирает и миниатюрное и масштабное в равной степени. Угоди ее капризной пасти – и ты вечен, счастливый.

Мы не рабы обстоятельности, у нас с ними дружеский паритет: кто – кого?

Цель не оправдывает средства. Увы, она измывается над ними вдоль и поперек.

Неизобретательные моралисты любят говорить, что рано или поздно за все нужно платить. Чудесно, но только всем по разным счетам. Кого-то беспрепятственно пустят в рай, едва он погладит бездомного пса. А кто-то будет околачивать пороги рая, вконец измучившись и растратив все силы в борьбе за совершенство рода людского. Не страшно. В ад тоже можно попасть не сразу. Можно долго ходить у его входа, затеяв запредельные судебные процессы с силами добра и зла. Даже в этих бездонных юдолях не все потеряно раз и навсегда. Наше неутолимое и ненасытное желание – категория более обширная и универсальная, чем просто деление мира на тот и этот. Везде можно жить – вот мудрость человечества. Нам некого слушать – вот наша наука. Прирученное чудо – вот наш устойчивый ориентир и наша царская мораль. Больше прыти во всем – это впечатляет и Бога, и дьявола, и мирские власти, и детей, и женщин.

Сделка с дьяволом – это еще только хобби. Менеджер сатаны – вот это уже специальность.

И еще.

Обещание – совершеннейшая из форм закабаления, а обещание вселенского счастья – идеал кабалы почти абсолютной и тотальной. Когда нечего терять, кроме своих целей, это не так страшно, и рабовладельцы всего мира усвоили столь простую истину. Нечего терять, кроме своих обворожительных иллюзий, – вот лозунг сегодняшнего рабовладения. Мы вырвали с мясом всю обильную ценную ткань души и смотрим теперь на мир опустошенными неверующими глазами.

Какую новую форму изощренного рабства нам изобретут завтра?

Что остается от нас всякий раз, когда мы с зычным воплем бунтаря сбрасываем с себя новое ярмо?

Блюдец прошло три стремительных триумфальных круга и, сделав нам «До свидания, мадемуазель Варвара; до свидания, мосье Фома», застыло на самой середине спиритического круга, оставив в покое все буквы.

– До свидания, господин де Траси! – прошептали мы хором.

– А ты сильный медиум, – сказал я Варваре по прошествии некоторого времени.

– А ты очень умный, – сказала она сразу же.

– Извини, что испортил тебе настроение.

– Да нет, что ты, я чудесно развлеклась. Два моралиста, две системы ценностей, два мира. Все было отлично, спасибо. Надо будет тебя еще на кого-нибудь напустить.

– Только не сегодня. Ладно?

– Ладно.

Я смотрю на красивую женщину, начиненную всеми атрибутами женственности, плавными гаммами переходящей в откровенное бесовство, и понимаю, что чувствую и думаю не по средствам, что скатываюсь в ту сторону смысла. Меня одолевает микрофизика страсти.



Женщины всегда смотрели на меня как потребители, даже тогда, когда они любили, ибо тогда они хотели потребить чувство, которое я вызывал.

В неровном зеркале разума разрастается голографический фантом Эроса.

Моя оперативная идеология Неверия получила проникающее попадание возмущенного инстинкта.

В морали главное не мораль, а ее конечный результат.

Успех, равно как и наказание, приходят только к тем, кто их постоянно провоцирует.

Дактилоскопический рисунок моих пальцев уже несет стереосенсорное восприятие Варвариной янтарно-бархатистой кожи. Гарнитур моих настроений сейчас – это замысловато движущаяся панорама. Ее духи – это коварный заговор против меня, ибо всем существом чувствую сопротивление материала Неверия, из которого я сделан. Вкусовые рецепторы во рту недоуменно сбились вокруг остротка ее кожи, пожираемой моим затяжным поцелуем, будто раскаленным клеймом. И язык мой при этом рассекается на змеиний двуострый. Ажурное невесомое белье ведьмы скользит по всем органам чувств с легкостью рассыпчатой морской пены. Я мчусь к ее губам как к оазису на фоне багрового закатного солнца. Павлиньи хвосты Варвариных ресниц выбивают из воздуха едва приметное оранжевое свечение, а ее фиолетовый лакированный ноготь рисует на моем дрожащем лбу хитросплетения фигур вселенского сладострастия.

– Фома, а ты атеист? – вдруг спрашивает ведьма, и раковина моего уха расплзается в разные стороны от горячих наплывов ее дыхания, будто шоколадная.

– Нет, я язычник, – отвечает мое тело моим голосом. Я знаю, что на любовном ложе первым начинает говорить менее хладнокровный.

В этот миг бьющего гейзером из меня удовольствия я смотрю на мир сквозь прицел, ловя правым глазом острый треугольник Варвариного подбородка, вздымающегося между полукружий груди... Бестелесным лежу я, утопив бесполезные глаза во вздрагивающую кожу ее живота, словно в блюдец с парным молоком. Формат мировосприятия неодолимо расширяется, а по комнате снуют пушистые россыпи электрического треска, точно ряженые. Мощная ладонь медитации размазывает меня по оси времени и...

...я вздрогнул, вцепился в тело Варвары, а всю спину мою обожгло прикосновение шершавой поверхности. Я едва не обезумел, увидев себя, лежащим на Варваре, под потолком.

– Успокойся, мальчик мой, ты летаешь верхом на мне. Ты подарил мне неслыханное удовольствие, и я плачу тебе тем же, – говорила она, паря в воздухе с запрокинутой головой и страстно приглаживая мои волосы роскошными горячительными движениями. Мелким неприметным карапузом я метался по ее телу, толкаясь в груди, колени, бедра и спасаясь что есть мочи от ее сладко терзающих рук. В воздухе вокруг нас болтались какие-то несуразные предметы в гравитационной безучастности, похожие на пустячную бытовую начинку космического корабля. Над головой, подобно хищному змею, парил малиновый чулок, а поблизости на мгновение застыла запонка, тщательно оглядевшая меня черным глазком драгоценного камня. Причем я успел приметить, что все предметы немного покачивались, как бы пульсируя.

– Фантастика!!!

– Ничего фантастического. Ты не летаешь только потому, что тебе никогда не приходило в голову летать. Ты родился с мыслью, что летать не умеешь, потому что ты человек, между тем, как нужно только лишь захотеть. Я захотела – и вот... Нужно всего лишь поменять полярность нервной силы, которая способна заменить ее поднимающей силой. Ты, наверное, думал, что это сказки для темных людей, когда во время инквизиции, чтобы проверить, ведьма ли женщина, ее бросали в воду, и если она тонула, то это означало, что она была не ведьмой, а если... Мы, ведьмы, не тонем, потому что умеем воздействовать на силу тяжести. Кстати, среди тех, кто осуществлял эти гонения инквизиции на нас, были люди, которые также отличались этой сверхъестественной способностью. Например, католический монах Иосиф Копертинский поднимал с собой на воздух других людей, и уже доказано, что Ямвлих и Фауст летали и писали на потолке. Была еще такая девушка Мария Пинта из деревни Варинелла, которая умела двигать тяжелые камни. А когда ее поместили в госпиталь, разом зазвонили все электрические звонки.

– Чудесно, но давай опустимся, ведь ты, наверное, устала.

Варвара раскатисто засмеялась, наконец обратив на меня искристый парализующий взгляд, и едва меня обворожили inferнальные глаза, как мы уже лежали на кожаном диване.

– Варвара, скажи, пожалуйста, а почему некоторые легкие предметы покачивались? – спросил я, радуясь всем своим существом наличию прочной и отнюдь не метафизической опоры.

– Они покачиваются с частотой моего пульса, который измеряется вон тем сфигмографом... Неужели ты не заметил, ведь мы с тобой тоже слегка качались?

– Признаться, не заметил.

– Ты чудо, ты мне уже начинаешь нравиться, – говорит ведьма, крепко целуя и заплетая миниатюрные косички на моей груди.

– А что ты умеешь еще?

– А еще я умею передавать письменные послания с того света. Причем, пишу я навыворот, так что читать приходится в зеркале, и не своим почерком, а почерком того духа, который передает мне это сообщение. Получается так, что он пишет из того мира с моей помощью и все это может происходить даже посреди оживленного разговора. Мало того, могу говорить голосом духа, как мужским, так и женским. Могу...

– Нет, нет, только не это, если ты начнешь говорить назидательным мужским голосом, да еще, не дай Бог, какого-нибудь чинуши или моралиста, который скончался двести лет тому назад от подагры, я моментально стану импотентом.

– О, я не переживу этого! – она смеялась еще и еще, целуя меня в губы, щеки, лоб, а я вырывался из ее бесчисленных рук с ординарным предложением выпить шампанского.

Я оделся и помог Варваре совершить некую сакральную акцию у нее на спине с каким-то заумным крючком.

Спустя некоторое время, мы вновь были безукоризненно упакованы, словно страсти и

### § 13

не касались нас.

Тихая мирская музыка, легкий ужин при общеобязательных свечах, длинные сухие цветы у дымчатых бокалов, непо потревоженные складки на Варваринном платье, стрелки на моих брюках под стать пробору манерной шевелюры и строго завязанная бабочка.

Сегодня, как и обычно, я получаю все свои мечты сухим пайком.

Иезуитство делает жизнь занимательным приключением.

Суть бытия не поддается истреблению ни словом, ни действием.

Каждый так или иначе мыслит с вершины своего недомыслия.

«Куда ни взглянешь, всюду есть жертвы самоотречения». [Макс Штирнер.]

«Подлость людей успокаивает их совесть, а греховность используется как средство успокоения». [Карл Ясперс.]

«Лишь тот, кто призван и обладает волей творить будущее, может видеть конкретную истину настоящего». [Дьердь Лукач.]

«Календарное время может всегда продолжаться, оно как бы пусто до тех пор, пока история его не заполнит». [Мишель Фуко.]

«Судьба – это слово, лишённое всякого смысла, именно потому оно так утешительно». [Наполеон Бонапарт.]

Мы чудесно отужинали, отмотали любовь назад, будто магнитофонную ленту, и прокрутили ее снова, с меньшим удивлением, но с большей тактильной акробатикой, оставив на сей раз потолок в покое.

Моя жизнь не процесс, а полунаучное понятие.

\* \* \*

*Начальнику спец. отдела  
этической консультации № 2*

### Докладная записка

Довожу до Вашего сведения, что 1 июня сего года в наш город приехал Фома Фомич Рокотов, длительное время находившийся на излечении в загородном санатории в Н. Ввиду перебоев в работе нашего информационно-вычислительного центра и канцелярии, затребованная мною история болезни Рокотова Ф. Ф. еще не поступила, поспеваю просить Вашего разрешения дослать выписку из нее и приобщить к делу позже. Подробные биографические данные, а также выписки с мест работы, места жительства и донесения других агентов я доводила до Вашего сведения ранее.

Этот молодой человек ведет ярко выраженный антисоциальный образ жизни, что явствует из его многочисленных поступков, не укладывающихся ни в какие рамки общепринятых норм поведения. Имея высшее техническое образование (инженер-системотехник), он, тем не менее, длительное время работав не по специальности, уволился с государственной службы вовсе. Я проверила все отзывы с места учебы и последующих мест работы и обнаружила во всех вышеперечисленных документах практически одно и то же, а именно: открытое нежелание работать, повышать свой профессиональный уровень, постоянные ссоры и пререкания с начальством, игнорирование общественной жизни коллектива и даже нескрываемое циничное издевательство над нею.

Однако, все эти негативные факты биографии Рокотова не пробудили бы к нему столь серьезный интерес, если бы не некоторые черты его «другой», более скрытой, стороны жизни, которая подчас приводит к полному недоумению, но дает возможность сделать единственно правильный и уместный вывод: Рокотов социально опасен и многие его деяния по своей изощренности имеют непредсказуемые последствия.

Беглый взгляд на эту сторону жизни Рокотова поначалу привел меня к простой мысли, что я имею дело всего лишь с ярко выраженным невротическим расстройством, имеющим столь диковинные и внешне связанные последствия (что не редкость в практической медицине). Однако, все оказалось гораздо сложнее, едва я изучила его частную переписку и поняла, что налицо не психическое заболевание, а тайный умысел.

Начать нужно с того, что Фома Фомич Рокотов, имея довольно необычное сочетание имени и отчества, вообразил себя чем-то наподобие Фомы Неверующего – сатирического персонажа народной литературы и детских сказок – отчего он присвоил себе право узаконенно презреть нормы общественной жизни. Из частной переписки и осмотра квартиры явствует, что Рокотов – образованный интеллектуальный современный человек, однако тяготеющий не к общепринятым канонам культурной жизни, а ко всякого рода магии, волшебству, оккультным наукам и внеисповедным формам религии, которые он самым замечательным образом сочетает с инженерным образованием, придавая всем своим начинаниям вид строгой системы и методичности. И это в то время, как он отказывается принимать какое бы то ни было участие в общественно полезном труде.

Существенно более отягчающим обстоятельством является его увлечение всякого рода запрещенной литературой, которая издана нелегально или за рубежом, зафиксированы также и контакты с иностранными эмиссарами.

Поведение Рокотова эксцентрично, экспансивно. Однако, его поступки за внешней непродуманностью и непредсказуемостью хранят следы удивительной самодисциплины и напряженной работы ума, в результате чего складывается впечатление, что вся деятельность носит тщательно продуманный характер, направленный на дестабилизацию основ государства и подрыв его идеологической мощи. Неуважение Рокотова к общественным правовым нормам проявляется в его балаганной одежде, многочисленных кощунственных высказываниях, варварских действиях.

В первый же день по прибытии в город он принял участие в различных нелегальных сходках, осквернении могил на кладбище, а на второй день митинговал на площади, посещал черный рынок и под конец купил патент на юродство!

Имея артистический, азартный характер, используя мимику, ораторское искусство, а также общительность и умение экстравагантно одеваться, Рокотов быстро входит в доверие к наиболее неустойчивой части нашей молодежи. Он постоянно изображает из себя что-то вроде языческого кумира, пророка, поощряющего всякие безобразия и сумасбродства, прославляющего бахвальство, нигилизм, разгул страстей и бесстыдство.

Все свои грязные дела Рокотов непременно заносит в блокнот, к которому относится с бережностью и трепетом, и это его уязвимое место, несомненно, может быть использовано как вещественная улика против него.

Рокотов ведет также крайне распутную личную жизнь. Зафиксирована, в частности, его интимная связь с женщиной по имени Варвара, выдающей себя за ведьму. (Личность устанавливается). Что это: изощренное юродство в трудный для страны момент или осознанное использование паранормальных и сверхъестественных способностей человека во вред обществу?

Суммируя все вышеизложенное, я указываю на очевидную опасность Рокотова Ф. Ф. для общества и настаиваю на применении к нему самых решительных мер.

Жду ваших дальнейших указаний.

*С уважением Клара Т.*

\* \* \*

– Занятный тип, а? – спросил человек лет сорока с треугольным землистым лицом и обширным лбом, плавно переходящим в блестящую лысину. Его темные маслянистые волосы были старательно прилизаны и неровными прядями касались воротника полосатой сорочки, отчего человек лет сорока делался похожим на жизнерадостного варана, будучи, кроме того, одет для пущего сходства с ним в галстук ехидно-болотного цвета. Все вместе это называлось Эдуард Борисович Смысловский, за совокупность повадок и заслуг имевший в министерских кругах негласную кличку «Каноник». Работая начальником спецотдела этической консультации № 2, он параллельно исполнял обязанности референта по вопросам общей этики и биоэтики при первом заместителе министра Григории Владимировиче Балябине и льстил ему, при этом, ровно настолько, насколько превосходил его в годах. Ведя себя в общем и целом достойно, он, тем не менее, давал волю своей некалиброванной лести, застывая иной раз в живописных позах организма, полуживого от подбострастия. Источником зависти Эдуарда Борисовича служили как головокружительная карьера первого заместителя министра, так и общий вид его здоровой атлетической мощи, инерционно безразличной ко всем мелким человеческим страстям. Не последнее изумление Каноника вызывало и чувство неистребимого практического оптимизма, сочетаемого с олимпийским спокойствием Григория Владимировича, который, в свою очередь, также устами подчиненных, назывался за спиной «Невыбываемым». Невысокого роста, животастый, референт мог уморительно мельтешить непрожеванными словами, убеждая в чьей-то здоровенного заместителя министра, путаться у него под ногами с непременными предложениями «пройти вперед», в суете наступать на ноги, каждый раз вздрагивая при новой необходимости извиняться и округлять глаза, траченные завистью. У него было трудное детство, он вылез в люди сам, и вытекающие отсюда последствия наложили отпечатки на все смехотворные и нелепые черты его облика. Он умел работать, умел читать лекции, умел исправлять огрехи иных, более высокопоставленных чиновников, и помнил наизусть все циркуляры всех ведомств, всех эпох и народов. Он честно отрабатывал преимущества своей экологической ниши, и только недостаток уверенности в себе и инициативы, а также некая внешняя паяцеобразность не давали ему прорваться выше.

– Занятный тип, а? Григорий Владимирович?

– Да, тип занятный. Но вот что с ним делать – в толк не возьму? – ответил Григорий Владимирович, время от времени поигрывая всеми группами мышц, ибо каждое их проявление давало ему огромное физическое наслаждение. Аккуратно подколлов к делу донесение Клары Т. и задумчиво пролистав донесение Дмитрия К., поступившее днем раньше, молодой заместитель министра отложил толстую папку и, сощурившись, обратился к референту:

– Вот что, Эдуард Борисович, пора бы нам повидаться с вышеозначенным Фомой Неверующим, что-то не идет он у меня из головы.

– По-моему, вы слишком много внимания ему уделяете, у нас и так дел великое множество, а тут еще...

– Нет, нет, вы не правы. Есть в нем какая-то изюминка, а нам сейчас в период подготовки нового кодекса общегосударственных законов могут пригодиться самые разнообразные точки зрения, ведь необходимо учесть мнение всех слоев общества, в том числе лидеров различных группировок. Кроме того, вы, Эдуард Борисович, знаете мою слабость коллекционировать различных эксцентричных персонажей. Вы знаете, это ведь старинный обычай – держать при дворе шутов, дураков, уродцев для развлечения. Да и, кроме того, от них иногда все же исходят здравые мысли. Видит Бог, я не сегодня-завтра министр, пора бы и мне обзавестись своим зоосадамом. А тут – сам Фома Неверующий во плоти! Помилуйте, нужно совершенно не уважать в себе коллекционера, чтобы отказаться от удовольствия общаться с таким чудачком. Нет, положительно в вас нет никакой романтики, циркулярный вы человек, Эдуард Борисович, не в обиду вам будет сказано.

– Как знаете, – отвечив референт, у которого в мозгу сама собою сочинялась какая-то бумага, в связи с чем лицо его приобрело самое крючкотворное выражение, – прикажете повестку от моего ведомства?

– Ну, зачем же так грубо? Можно его и поинтеллигентнее спровоцировать. Вы говорите, купил патент на юродство? Вот за этот патент мы его и подцепим. Человек сам к нам придет, сам все про себя расскажет. А там будет видно, что нам с ним делать. Эх!!! Есть в этом какая-то метафизика высшего порядка. Ей Богу, кресло свое уступлю ему на неделю, лишь бы заглянуть в этот его блокнот. И что он там пишет? Фома Неверующий... Фантастика! Кто бы мог подумать, что такие водятся еще в наши бедные на людей времена, ведь такие-то чудачки составляют генофонд нации.

– Чего-чего, а людей у нас хватает...

– Э-э, нет, это все не люди, это материал для вашей статистики. А вы мне характер дайте, уникама, так-то ведь от этой вашей канцелярской писанины обезуметь можно. Ну, ладно! Вызовите ко мне потом кого-нибудь из рекламно-информационного отдела, а сейчас пойдёмте кофе пить. Хорошо?

– С удовольствием, Григорий Владимирович. Тем более, что я сегодня еще не завтракал.

– А вот это вы зря, дражайший Эдуард Борисович, завтракать нужно непременно, а то сил не будет сражаться с отчетами-то, а? – сказал первый заместитель, всколыхнувшись всем телом, точно порыв холодного ветра, и увлек референта за двери своего обширного светлого кабинета. И в который раз растачивая плечами дверной косяк, Григорий Владимирович на мгновение сократил всю свою мускульную массу и с не свойственным ему гамлетовским трагизмом в голосе изрек:

– Ох, Коринф меня беспокоит! И откуда взялось это очередное экономическое чудо на мою голову?

\* \* \*

Я был выброшен прочь из сна и оказался в неудобной позе, которую мне сообщило сновидение. Сон окончательно испортил всякое спиритуальное наполнение моей любви с ведьмой. Мне привиделся некто совершенно эфирно неусвояемый – мессия-психотерапевт, обещавший вылечить весь народ на Земле. Еще находясь в сладостной ткани сновидения, я был озадачен, ибо знал, что привиделось мне вполне конкретное историческое лицо из нашей разношерстной действительности, и я ума приложить не мог, как мне относиться к этому мессии: как к забавному кусочку сна или как к осколку всамделишной жизни. Я бил сон руками по лицу, как беспомощный дитя, ибо вместо головы целителя видел одну лишь амбразуру, на которую гроздьями бросались легковерные, кошмарно истосковавшиеся по элементарному чуду люди. Они неслись к амбразуре, нещадно толкая меня и кружа в вихре фанатичного сумасбродства, но мессия сжигал их огнем своего дарования...

Вырвавшись из сна, точно из сжимающегося кошмара, я вздрогнул всем телом...

И снова не почувствовал его, как и сутки назад.

Как любопытный отрок, я издали замороженно разглядывал освеженные сном сочные губы Варвары, что льнули к моим, плотно зажмуренным, будто створкам раковины испуганного моллюска Сладкая любвеобильная мякоть, похожая на раздавленную землянику под первой росой, дала мне чувствовать свое тело, но оно было безнадежно далеко от меня, словно за тридцать царств, в каждом из которых я был заочно приговорен к смертной казни.

– Что с тобой, милый? – спросила она наконец, выделяя ладонью мое лицо из пространства, точно ваятель.

– Привиделась ерунда, не имеющая никакого отношения к нам, – ответил я и припомнил, что в моем арсенале имеется искусственный язык для обозначения сверхчувственных понятий, и, снова пережив все, что может пережить мужчина в объятьях самой, женственной из ведьм, сказал:

– Извини, мне неудобно лежать в таком положении, я встану.

Собрав все части своего тела, сжал что было мочи и бросил в сторону наотмашь, так что белоснежное одеяло, подобно стремительно тающему леднику, бежало прочь с прекрасных округлостей Варвариного тела. Ее голос звучал откуда-то из-за гравюрных россыпей светлых волос, касаясь гнездовой утреннего света на всех блестящих предметах, что были в этом бесовском компьютеризированном будуаре:

– Ты не бываешь в неудобных положениях, потому что каждое неудобное положение, в котором оказываешься, освещаешь своим присутствием так, будто ты делаешь честь тому абстрактному положению частным случаем проникновения в него.

Я наговорил ей ответно целую чашу ласковых слов, точно рабов, согнав на работу все комплименты, и поцеловал каждый островок пульса на ее теле, питаюсь этим ритмом. Нащупав во внутреннем кармане смокинга свой стерео-блокнот, я распрощался с Варварой.

Походкой, похожей на штрихпунктирную линию, я направился к дому и увидел, что за одну лишь ночь город наполнился следами загадочной ритуальной атрибутики, превратившись в гигантское капище космического века.

Я устал жить под фонограмму чужих слов, записанных вместо моей совести, и ходу иметь свой сольный концерт. Каждое утро у меня возникает чувство иного тела, и в этот момент я отчетливо начинаю понимать, что воюю больше, чем со всем миром. Воюю с самой светлой идеей человечества: я бросил вызов Утопии.

Шагая домой сквозь цветастое месиво лиц, я ясно увидел перед собою несколько поколений людей, многомиллионной толпой уверенно шедших за...

... книгой, которую никто из них не читал. Они шли напролом, не щадя близких. Их неистовый энтузиазм, питавшийся кровью надежд, иссяк так же, как и любая река наконец отмывается от крови, сколько бы ни бросали туда тела. Поэтому теперь они не ведают, куда идти. Небо пусто над головою этих поколений, а миллионные жертвы незаметно затерялись на полях сей книги (бумага все терпит), которая скоро войдет в историю как самое загадочное и кровопролитное заблуждение человеческого ума. И глухое эхо этого вселенского искажения будет пронзать времена и пространства на протяжении веков.

«В наше время сфера идеологии действительно достигла наивысшего объема. Ведь безнадежность всегда вызывает потребность в иллюзиях, пустота жизни – потребность в сенсациях; бессилие – потребность в насилии над слабым». [Карл Ясперс.]

«Идеологическое мышление, правильное или неправильное, есть нормативное мышление, которое настолько уверено в своей правоте, что не допускает никакого отклонения.

Идеологическое мышление равнодушно к последствиям.

Идеология и идеологическое мышление дают мгновенную пользу. Однако каковы их последствия – этого следует бояться». [Л. Халле.]

«Индивид считает себя свободным от идеологического нажима и совершенно не подозревает о том, что иллюзия свободы приготовлена заранее и навязана ему извне». [К. Ахам.]

«Поскольку общественное давление оказывается духовными путями, оно не может обойтись без того, чтобы дать человеку идею, что позади него существует какая-то моральная и одновременно действенная сила или силы, от которых он зависит. [Э. Дюркгейм.]

«От погони за наживой и деньгами освобождают раба их только для того, чтобы заполучить его для благочестия, гуманности или какого-нибудь другого принципа. Свобода духа – мое рабство, ибо, я – больше чем дух и плоть». [Макс Штирнер.]

Плодя теории о светлом будущем, утописты невольно плодят нищих сегодня и невинных вчера, потому что будущее изобретает тот, кто не способен жить в настоящем. Будущее всегда преподносится непременно как «светлое», и во имя «Его светлости» утописты просят займы человеческие жизни. Светлое будущее лепят наспех из грязного настоящего, и тогда будущее тускнеет, пачкается и постепенно превращается в грязное прошлое.

Утописты, кто из вас ответит за «светлость» ваших идей, ставших реальным сбывшимся кровавым кошмаром? Ваши праздные слова – самый дорогой материал истории. В каждом случайном проекте благодетельного усовершенствования – миллионы загубленных жизней.

Понял ли кто-нибудь это???

Цены на рынке фактов растут, человеческая история терпит инфляцию, и однажды идея, которой хотят всех ослепить, всех и погубит. Апокалипсис любит смотреться в зеркало «всеобщего блага». Люди, гоните светлые идеи для всех – останетесь

## § 14

живы!

Я подошел к своему дому, и сквозь сине-красный фильтр увидел на двери парадного огромное объявление, выполненное на первоклассной бумаге с помощью прекрасного полиграфического оборудования

Научному центру этических исследований при Базовой городской этической консультации № 2 т р е б у ю т с я психологические натурщики. Безопасность психологических опытов гарантируется. Оплата по договоренности. Обращаться по адресу...
---

Я появился в своей квартире, чтобы привести себя в порядок и во всеоружии начать фронтальное наступление на новый день моей неверующей жизни, но сколько ни пил кофе и ни принимал душ, никак не мог избавиться от запаха свежего клея и свежего адреса, что застряли в моей памяти. Машинально я начал рыться в карманах костюма, которым заменил смокинг, и неожиданно наткнулся на белую пластину визитки, беспризорной льдинкой очутившуюся в моей руке. Образцово-показательный шабаш закончен. Я выбросил веревочную лестницу из двуцветного путеводного блокнота «и спускаюсь по ней прямо на голову очередному приключению: иду к начальнику реставрационной мастерской Максиму Романовичу Пиуту. На невзрачной улице, укрытой за табачным и иными ларьками, я с трудом выискал дверь, покрашенную в неудобный розовый цвет, а рядом с ней – вывеску, которую кто-то неоднократно и весьма настойчиво пытался сорвать. Тем не менее, за обилием отметин, оставленных остроконечным металлическим предметом, я увидел наконец название реставрационных мастерских и, толкнув розовый цвет, по прошествии некоторого времени обнаружил моего случайного знакомого. Обойдя множество всевозможной антикварной утвари и едва не завалив плоскую башню напольных часов с пустым чревом из-за безвольно вывалившегося маятника, натужно-радостный Максим Романович обрушил на меня, словно на старинного приятеля, красные клешни своих объятий. Я улыбнулся и из чувства умеренной вежливости отдался в эти объятия одним плечом, кажется, левым. По-прежнему ребячливый, в бедной одежде, истертой всеми видами реставрационных работ, он сразу принялся балагурить, натягивая улыбку на лицо то со лба, то с нижней челюсти, то как-то из-за ушей.

– А я БЫЛ опять в пивной, вчера БЫЛ, думал, вас увижу, да, ну вот...

Я привык к его неухоженной, но радушно искренней речи и пропустил мимо ушей эту стилистическую ошибку. Однако, побеседовав о том о сем в течение минут семи, нащупал несколько таких вот парноглагольных фраз. Я отодвинул прочь всю гамму предубеждений и понял, что ошибка была отнюдь не следствием небрежной речи.

Все было гораздо глубже. Словно изуродовали этого человека, изуродовали, как, впрочем и большинство населения, и превратили его в генотипически обусловленного неудачника, хромящего на глаголы. Потому что Максиму Романовичу каждый раз не хватало одного из них, когда он хотел с помощью глагола зацепиться за жизнь, определить себя. Словно страхуясь, он инстинктивно спешил привнести в каждую элементарную фразу, касающуюся именно его, еще один точно такой же. Пиут работает начальником реставрационной мастерской, сам не поддаваясь реставрации. Он инвалид нулевой группы. Интересно, сколько нужно было государству разорвать плакатов и лозунгов на мелкие кусочки у него над головой, сколько нужно было срыть монументов в его душе, сколько нужно было новых слов, написанных поверх старых, чтобы вот этого крепыша, занимавшегося раньше боксом и умеющего хорошо держать удар, довести до такого состояния? Нет,

наверное, все-таки существует точно выверенная пропорциональная разрушительная связь между изуродованными людьми и словами, и я уже начал было загибать пальцы, чем несказанно удивил Максима Романовича.

– Что считаешь, Фома, а? Так вот, я ЕЗДИЛ к матери вчера, потом ЕЗДИЛ...

Я сжался снова, как и всегда, когда видел инвалида, и мистическая парноглагольность Пиута представилась мне культями, поросшими бледнеющей коростой старых шрамов. Повтори глагол в третий раз, четвертый, пятый. Карабкайся! Глаголов не жалко – тебя жалко, твое тусклое нищее холостяцкое одиночество, твою глупящую хмельную отраду.

«Язык угнетенных всегда беден, монотонен и связан с их непосредственной жизнедеятельностью; мера их нужды есть мера их языка». [Ролан Барт.]

«Методически нигде столь осязаемо не удастся вычитать картину мира, как в лексическом фонде языка. Конечно, это особенно удобно делать на основе ограниченных словарных фондов специальных, профессиональных и сословных языков». [Е. Ротакер.]

У меня в голове чертится маршрут путешествия с остановками в следующих пунктах:

- неперспективное селение –
- неперспективный город –
- неперспективная страна –
- неперспективная эпоха.

Кто-то совсем недавно придумал это слово «неперспективный», и теперь оно отправилось в мир на свободную охоту, пуская ко дну целые века человеческой культуры.

Не страшно там, где нас нет.

«В попытках разрушения языка зачастую есть что-то торжественное». [Ролан Барт.]

«Следует ли напоминать, что у безумия есть своя история и что эта история еще не закончена». [Мишель Фуко.]

Неожиданно я попался, как уличный воришка на богатом кармане...

... я в который раз посочувствовал страданиям языка в большей степени, нежели страданиям рода людского.

Я пополнил конфискованными у Пиута парными глаголами свои записи в блокноте, добавив их и в красный и в синий столбцы,

.... был ...

.... был ...

.... хотел ...

.... хотел ...

.... видел...

.... видел...

и написал заявление о приеме на работу. С сегодняшнего дня я

реставратор и должен буду прилаживать протезы к изуродованным

нашим временем вещам.

Я протезист  
неодушевленных предметов.

– Максим Романович, а что нужно будет реставрировать?

– Ох, Фома, за выбором дело не станет, весь мир починять нужно, – и, сбившись на шепот, продолжил с каким-то просветлением во взоре, – а с другой стороны, к чему реставрировать прошлое, если нет будущего?

Совсем рядом на пустых банках из-под зловонного лака восседал маленький человек в комбинезоне, стоически борющийся с приступами вулканической зевоты, готовый вот-вот разорвать его на части.

Максим Романович подхватил меня под руку и, путаясь ногами в кусках упаковочной бумаги и неуверенно озираясь по сторонам, поторопил к выходу, сорвавшись на обычную для него скороговорку.

– Да, это я так, Фома, все в порядке будет, верь мне, наша работа для души хороша, потому как не бывает двух одинаковых вещей, одинаково сломанных, к каждой свой подход нужен, и...

Мы распрощались у дверей в суматохе, ибо между нами сновали люди в грязных комбинезонах, сгружавшие бесформенные тюки с бортового финикийского грузовика, и где-то совсем рядом с неистовым упорством забивали гвозди прямо в обнаженный воздух.

Старательно обходя скопления нищих, цыган и демонстрантов, я направился прямо в

#### Этическую консультацию

Собираюсь взять оплот этой презренной морали штурмом. Мне нравится жонглировать манифестообразной поговоркой, которую случайно услышал от одного человека младшего офицерского чина, лицо которого было начисто стерто от непогоды и отдаваний чести: «Наглость города берет».

А на улице снова театр насилия со сценой в зрительном зале и кризис пространства, потому что новые лозунги совершают новую облаву на старые жертвы, плодя искалеченных словами.

Хочу выпить стакан человеческой крови! Лозунгам можно, а мне нет?

Прямо на ступени заветной Этической консультации я выпал из колоды толпы, точно крапленный валец.

В алюминиевых дверях тесного тамбура, в тугих струях ветра, вбирающего с улицы всю этику внутрь Здания, я схлестнулся полами одежд с человеком, очевидно, иберийской национальности, голова и равные ей по ширине плечи которого находились на одном уровне.

– Извините, – бросили мы друг другу в затылок. Ибериец был обвешан медалями, столь великими числом, что на каждой из них я успел прочитать лишь одно и то же: «За...».

Вполне благообразное административное здание для перекадывания бумаг открылось моим глазам во всем своем прямоугольном убранстве. Приемлемые цвета, нераздражающие кресла для ожиданий, неприхотливая растительность в массивных вазах, бесхитростная писанина на стендах, люди, размеренно движущиеся от двери до двери наощупь, – все благонаравно схоронилось под этими тишайшими сводами. У меня возникает желание подарить новейший освежитель воздуха с запахом ладана производства одной византийской фирмы, специализирующейся на выпуске культовых принадлежностей, причем обслуживает она все религии, кроме моей.

– Любезный, не укажете ли, где помещается, э-э-э-м... Научный центр этических исследований, – спросил я, жеманно вздев брови и почти цепляясь мизинцем за лацкан клерка средних лет с лоскутом пластыря на лбу и огромной желтой кеглей в руке.

– Пройдите на третий этаж и налево, там увидите, – услышал я казенный ответ.

– Благодарю Вас.

Третий этаж, и впрямь, явил моим очам целый отдел с соответствующей вывеской. Зачем я иду сюда? Чтобы своим извечным Неверием разрушить этот государственный притон ортопедической морали? Я не знаю ровным счетом ничего об Этических консультациях, но чутье Фомы Неверующего зовет меня воевать с ними.

– День добрый! Я по объявлению, Вам требуются психологические натурщики?

– Да-да, пожалуйста, подождите, – отвечает миловидная девушка, сконцентрировавшая все свое внимание на длинных ногтях.

– Заполните, пожалуйста, анкету.

Несколько десятков дурацких вопросов вызвали во мне приступ вселенского цинизма. Получив в руки заполненную анкету, девушка хрестоматийно осмотрела меня с головы до ног, сообщив при этом своим накрашенным ресницам сложные движения. Некое эротическое дуновение промчалось по моим жилам. Я хрустнул пальцами и неожиданно вспомнил, почему-то, что миссионеры в отдаленных районах Африки для новообращенных туземцев используют иконы, на которых мадонна изображена с черным лицом, а вся нечисть является в беллицем обличий. Передо мной еще раз извинились, затем по очереди зазвонил телефон, заработал большой настольный фригийский вентилятор и по коридору промчались два беспалых хохота, один из которых вломился в дверь. Вежливо найдя меня глазами в кресле, невысокий человек с болезненного цвета лицом и черными прилизанными волосами подбежал ко мне. Облизываясь, он перевел взгляд с секретарши на меня и неуверенно спросил куда-то в сторону:

– Это вы по объявлению?

– Точно так-с.

– Прошу вас, пройдите.

– Премного...

Мы сели друг против друга в обширном кабинете, обставленном намного богаче, чем приемная, и еще лучше, чем вестибюль, и учащенно задыхались, не ведая, с чего лучше начать. Над головой человека висел портрет Томаса Мора, изобилующий синими тонами.

– Эдуард Борисович Смысловский – директор Центра этических исследований, – наконец представляется мне он, слегка подпрыгнув в кресле от сокращения ягодичных мышц.

– Фома Фомич Рокотов – обыватель, – проделываю полностью ту же процедуру. – Прочел ваше объявление и, не скрою, был удивлен оригинальностью предложения. Как человек эксцентричный, не могу себе отказать в удовольствии разобраться от конца с этим вопросом, ибо при известных условиях не откажусь испытать себя на этом диковинном поприще.

На желтой коже огромной лысины директора, будто на мраморном постаменте в солнечный день, отражались размятые лучи солнца. Директор взирал на меня, передергивая все морщины, точно тасуя их, и, поправив на жирной шее ехидно-зеленый галстук, начал:

– Скажите, Фома Фомич, вы знакомы с назначением Этических консультаций?

– Нет, увы.

Он напряг свое широкое треугольное лицо, переложил на столе с места на место справочники в мягких обложках, утвердил взгляд на служебном телефоне и, обозначив под расстегнутым пиджаком живот идеальной чиновничьей формы, продолжил:

– Видите ли, ни для кого не секрет, что наша держава переживает сейчас один из самых страшных кризисов за всю историю. Мы не будем вдаваться в детали, беречь имена и даты, искать виновных, но, как следствие всех экономических и политических неурядиц, в таких случаях всегда возникают искажения и в духовной сфере происходит падение нравов, растут смыслоутрата, отчужденность и многое другое. Раньше святая церковь радела об уровне этики в государстве, но после того, как она подверглась гонениям, влияние ее, естественно, снизилось. Старые идеалы в большинстве своем были уничтожены, а новые, которых ожидали с таким нетерпением, оказались, увы, либо недолговечными, либо лживыми. Кхе-кхе. Теперь об этом можно говорить. Так вот, наше общество оказалось погруженным в своеобразную внеэтическую впадину. Очень и очень многие люди просто не знают, что им делать, для чего и как жить? И, заметьте, это массовое явление повального нигилизма распространяется все больше и больше. Это там какая-нибудь мелкая страна может существовать без морали, потому что ее можно завезти в любой момент. Но вот такая огромная страна, как наша, не может существовать без нее. Пространства, население. Ну, в общем вы меня понимаете. Словом, Этические консультации – это мера, пусть пока и не совершенная, но способная помочь миллионам людей сориентироваться в окружающем мире в этот трудный момент. Простите, вульгарная трактовка, но доходчивая, я потому я не боюсь ее. Эти учреждения должны подсказать людям, что такое «хорошо» и что такое, «плохо», стать опорой нравственности обновляющегося общества, усовершенство-

вать отношения между людьми, группами, классами, поколениями, вернуть веру в историческую миссию мирового добра, объяснить, что есть зло, прекратить разброд, шатание, анархию, эрозию морали.

– Это понятно! – воскликнул я, с неподражаемым верноподданническим жаром дергая кадыком и пристойно возложив руки на колени, – но натурщики здесь при чем? – спросил, уже развязножизнелюбиво развалившись в кресле.

– Хм... Это долго объяснять, но я попробую. Мы все живем в рамках одного социума, подвержены одним и тем же законам, отношениям, господствующим в обществе. Но один из нас тунеядец, а другой – честный труженик, один благопристойный семьянин, а другой – мерзкий развратник...

– И вы хотите, поставив ряд опытов на мне, выяснить, отчего человек в замкнутом объеме законов, причин и следствий проделывает путь от добра ко злу, для того, чтобы выработать противоядие в рамках всего общества? Так? – тихо сказал я, глядя в глаза директора, точно в колодец перед падением.

– Да. Да, именно. Как это вы точно и замечательно сформулировали! Именно, именно!

– Ну, что ж, я готов. Что нужно делать? – спросил я.

– Да, подождите вы, успокойтесь. Ничего не нужно делать. Вам нужно будет жить вашей обычной жизнью.

– И все же? Ведь натурщик должен позировать.

– Вы, и впрямь, очень эксцентричны, и с вами немного трудно разговаривать. Но все же попытаюсь не сбиваться на мозаичные реплики и подробнее описать задачи Этических консультаций. Видите ли, Фома Фомич, в сознании современного цивилизованного человека, особенно горожанина, не обремененного моральными обязательствами многовекового уклада, живущего в условиях распада религиозных систем, частой смены идеологических установок и отсутствия духовной дисциплины, фрагменты разных религий все более свободно и эклектично соединяются друг с другом. Религиозная терпимость как бы переходит на новый уровень – от терпимости к сосуществованию разных религий в обществе, к спокойному отношению к их сосуществованию в сознании одного индивида. Являясь государственной идеологической организацией, мы не можем остаться безучастными к негативным процессам, происходящим в духовной жизни нашего общества. А для того, чтобы оздоровить ситуацию, необходимо, как вы сами понимаете, выработать надежное противоядие против всякого рода разлагающих процессов. Ну, а для этого, в свою очередь, нужно детально разобраться в причинах этих негативных процессов.

– Ясно.

– Вот и очень хорошо. Итак, вам предлагается жить вашей обычной жизнью, встречаться с различными людьми, быть участником различных мероприятий и излагать мысли и переживания, которые будут вас посещать в результате этих встреч и событий. Вам предлагается смело высказываться на любые волнующие вас темы. Вам разрешается говорить на людях все, что вы о них думаете, прямо в лицо, без утайки. Словом, вам вменяется в обязанность делать все, что заблагорассудится, причем ваша личная безопасность будет гарантироваться условиями договора, который мы с вами заключим в случае обоюдного согласия.

– Все, что я захочу?

– Именно так. Вы будете посещать официальные приемы, бывать дома у знаменитых людей, посещать митинги, забастовки, суды, церкви, редакции газет и журналов, военные объекты, побеседуете с лидерами политических группировок, религиозных течений, кумирами молодежной моды, идолами толпы. Потребуется много энергии, пластики воображения, игры ума, так каковы посетите те точки страны, в которых бьет пульс максимальной активности, вершится большая политика, формируется общественное мнение, решаются судьбы Отечества. Ваши реакции должны быть правдивы и естественны, вам нельзя будет сдерживать себя. Полная свобода волеизъявлений, мотивацию которых нужно будет затем лишь изложить в письменной форме и отчасти устно кураторам, в чьи обязанности вменена ваша охрана. Как видите,

## § 15

риска никакого и, кроме того, предоставляется исключительная возможность получить массу впечатлений, которые вы никогда не получили бы, даже если прожили бы сто заурядных жизней разом. И прибавьте сюда полную вседозволенность в словах и поступках. В условиях роста демократии люди могут лишь мечтать о том, что вы будете иметь...

Я не тороплю с ответом, вы можете поразмыслить и внимательнее изучить текст контракта.

– С текстом я, разумеется, ознакомлюсь, и весьма внимательно, но могу сказать сразу же. Я согласен, – ответил я, искря глазами на флибустьерский манер (...) Дон-Кихот, я начну чистить латы сегодня же. Жизнь не смогла бы изобрести большего искушения для моего Неверующего наполнения (...) Я осмотрел текст как документ, с которым не стыдно направиться в рай, и пробел все три экземпляра договора размашистой остроконечной подписью. Теперь я идеологический смерд, которого пошлют в бой впереди всех частей войска, дабы своими костями и мясом притупить вражьи мечи, утомить мускулы, остудить пыл атаки. Опереточная стремительность и опустошительная простота не родили во мне сомнения в том, что под портретом Томаса Мора может быть учинено казенное бесчинство над верноподданным Фомой, а все бессознательные инстинкты сплелись в толстенный жгут и вытянули меня в...

...психологические натурщики.

«Придай совершенство тому, что хочешь уничтожить. Попробуем с тем, чтобы достигнуть нужной нам цели, преследовать противоположную цель и достигнуть ее. Попробуем для того, чтобы избежать какого-либо результата, поставить себе его в виде цели». [Джованни Папини.]

«Свобода лучше сохраняется, когда одни имеют больше свобод, и более равны». [Джордж Оруэлл.]

«Кто считает, что он должен что-либо предмету своей любви, тот религиозен или романтик». [Макс Штирнер.]

«Всякое подчинение – религиозно». [Герберт Уэллс.]



«Можно любить то, что разрушаешь, можно продолжать прошлое, отрицая его, можно уважать своего учителя, опровергая его учение». [Гастон Башляр.]

Я сдавлю до боли всю свою плоть и выдавлю из Неверующей крови сыворотку против...

...вселенского идолоблудия.

Меняются времена и нравы, вместе с ними меняются и критерии их оценки. Столетиями непререкаемым канонем высшего героизма считалось восхождение на костер за идею. Нынешний идеал не менее возвышен и романтичен, ибо теперь, как и прежде, нужно быть неистовым смельчаком, чтобы... удержаться и не взойти на этот костер, так как несть числа ни кострам, ни идеям. Плюньте в костер, плюньте в идею. Идите дальше и живите, в свое удовольствие, и несметная слава о вашем отважном поступке спеленает весь этот завистливый мир.

Идол жив до тех пор, пока вы служите ему, пока вы горите за него. Не замечайте его, отриньте его бесноватые домогания, и он перестанет терзать вашу душу.

Идол – это хребет совести, а единственное назначение совести – угрызаться.

Избавление себя и окружающих от страданий – высшая цель любого здравого рассудка.

Выхожу за двери «пансиона благонравных идей» и фокусирую на себе смыслообразующую паузу. Я подобен человеку, во славу науки позволившему заразить себя неизведанной хворью и радостно отчитывающемуся о первых ее симптомах перед шеренгой задумчивых эскулапов.

Вновь буду бороться с обысками, учиненными мне хрипящим воздухом при выходе из здания. А Эдуард Борисович, едва не порвав штанину о ручку впопыхах не закрытого ящика стола, почти побежит в здание министерства, чтобы доложить Григорию Владимировичу о выполнении необычного задания. А тот, в свою очередь, третий или четвертый раз за все время работы в министерстве барственным жестом разрешит ему курить у себя в кабинете в знак одобрения. И они будут размеренно судачить, гоня под лепными сводами табачный дым, номера циркуляров и очередные таможенные меры против месопотамской внешней экономической политики. Атлетически сложенный заместитель министра будет живописно разбирать пальцами сквозь легкую пиджачную ткань мускулы на своем теле, старательно обозначая их и отделяя один от другого. А его референт с сокрушенно завистливым видом будет вбирать брюшко, мять несвежий носовой платок, болтать ногами и вообще выделывать всякие ненужные некрасивые движения. А я в это время буду слоняться между цветочными, вычурностями рекламы и безбровыми и безгубыми лицами невеселых людей, замахиваясь на пегих флегматичных голубей подписанными экземплярами договора. Мы будем предаваться своим настроениям, каждый на свой манер, бесхитростно и самозабвенно жонглировать идеями и идейками, нахохливаться от выдуманной озабоченности и...

Совершенно неожиданно меня качнуло изнутри и, оступившись, я угодил каблуком прямо в нищенский головной убор, набитый до краев карманной мелочью. Отделавшись извинениями и медяками, уже пролившимися через край шляпы, я инстинктивно двинулся за...

...женщиной, что легкими чарами своего вторжения совершенно вывела меня из состояния полуфилософского отупения. Обходя по сложному тангенциальному маршруту подолы, дипломаты и натянутые в пустоту собачьи поводки, я устремился за стройной темно-русоволосой особой, ибо нечто совершенно необычное уловил в ее лице. Оно буквально взломало меня. Самым фантастическим образом ворвавшись за оформляемую витрину и едва не уронив все манекены, я обрел, в результате, нордическое спокойствие и отменное настроение. С крейсерской скоростью сократил расстояние, выскочил вперед из-за ее плеча и, приняв выражение лица директора центрального телевидения, вознамерившегося поведать народу о скоропостижной кончине сразу всего правительства, заявил окончательно приглянувшейся даме:

– Добрый день, сударыня. Не имел чести быть вам представленным через посредство третьего лица, посему разрешите вам представиться самостийно.

Она остановилась, глотая легкий беззлбный испуг голубыми глазами и, наконец, усвоив мой сосредоточенный вид, изрекла:

– О, господи, как вы меня испугали!

– Приношу свои извинения, мисс.

– Так, что вам от меня нужно?

– Ровным счетом ничего, за исключением того, что я прошу разрешения познакомиться с вами.

Она слегка улынулась той улыбкой, что некогда в изящной литературе носила определение «с соблюдением собственного достоинства».

– Не разрешаю, – ответила она, устремившись вперед с выражением чисто сфинксова превосходства на лице.

– Рискую быть дерзким, однако позволю себе заметить, что мы с вами находимся в неравноценном положении, ибо, как известно, мужчина любит глазами, а женщина – ушами. Я достаточно видел, а вы недостаточно слышали. Кроме того, на женском любопытстве весь мир держится, но вы явно не торопитесь прибегать к его услугам. Судьба благосклонно подбросила вам случай, а вы самозабвенно калечите ее своей непримиримостью. Я, конечно, воздаю должное вашему классическому воспитанию, но ведь воспитание – это средство, а не цель в жизни.

– Заметно, скромностью вы не отличаетесь.

– Она совершенно не внесла бы никакого разнообразия в мой характер.

Плотная группа социально-неудовлетворенных людей принудила сбавить шаг, в результате чего наши руки неожиданно соприкоснулись. Рыжий забор заброшенной стройки, возникшей на пути, был густо оклеен листовками с эдиктом Каракаллы и Великой Хартией вольностей. Едва оторвав глаза от этих хлестких государственных заверений, мы оба почувствовали себя погруженными в осторожную взаимную симпатию. Тогда я двинулся в бой на расширение завоеванного плацдарма всю присущую мне эксцентричность.

- Господи, да откуда вы такой взялись? – говорила она, полусмеясь и поправляя роскошные волосы.
- Из урбанистической сказки. Меня зовут Фома Неверующий.
- Чудесно! И чем вы занимаетесь?
- Я язычник и занимаюсь обновлением мироощущений.

Полусмех, сдерживаемый дистанцией приличия, выплеснулся в собственный смех, и, буквально завертевшись в его бурном вихре, я наконец выведаль имя незнакомки и вцепился в него, будто в спасательный канат.

- Лиза, – сказала мне все лицо, наклонившись на бок.

Просторный пиджак с подкладными плечами из легкой черно-синей ткани, мятой волнами в соответствии с последними блажениями моды, широченные брюки и белый атласный лиф с перламутровыми пуговицами, одетый на голое тело, выдавали прекрасную спортивную фигуру, а легкий макияж оттенял природный здоровый цвет лица. Разумные голубые глаза, свидетельствующие о выдержанности в хорошем воспитании и достатке, маленький размер обуви и длинные аристократические пальцы рук разогрели мое удовольствие. Породистая женщина в условиях роста демократии – большая редкость. Я засунул руки в карманы и начал источать грубоватое обаяние вкупе с шутовскими расшаркиваниями. Картинно согнув локти, поделился воззрениями на творчество Мерля и Мультатули и всячески иначе пытался выказать структурированную эрудицию, цепляя к каждой фразе остроумие, чтобы показать широту и неординарность натуры в минимуме временного пространства.

Мы находились как раз возле главного входа в Институт повышения квалификации неудачников, когда на примыкающую к нему аллею упал сдувшийся парфянский аэростат, обвешанный флагами, и придавил гулявшую таксу, которая фальцетным лаем привлекла блеклые взоры прохожих. Казалось, что жаркий летний воздух – это идеальный консервант для людской апатии, до такой степени все в этой части земной коры сделались безразличны к наводнениям, катастрофам, пожарам, лозунгам, чудесам, нарушениям воздушного и экстрапространства, а также к иным мирским несчастьям. Мы с Лизой рассмеялись в такт сокрушенному собачьему лаю...

– Спасибо за компанию, Фома. Вы очень занятый человек, подняли мне настроение... Но, увы, мне пора, – изрекла вдруг она ангелическим голосом, как только мы оказались в фешенебельном квартале, и нажала кнопку сухощавого электрического звонка, упрятанного в гуще плюща. Плетеный водопад растения шелохнулся, обозначил дверь в стене, из которой высунулся плечистый детина в черно-белой полосатой жилетке, бабочке и белых перчатках.

– Прошу вас, – сказала прилизанное угрюмое существо, быстро пропустив Лизу, и с изумительной поспешностью отгородило меня от нее.

– К кому вы, – спросил детина не голосом, но внушительным движением плеч и желваков. Что-то горячее закопошилось в моей руке, и многочисленные листы договора и приложений сами собой расплзлись веером, обозначив адрес, точно соответствовавший массивной надписи на стене каменного забора. Я сразу же вспомнил, что мне надлежало явиться в этот дом для дальнейшего ознакомления с правами, обязанностями и встречи с первым заместителем министра Григорием Владимировичем Балябиным. Поправив галстучную заколку с брильянтом, я молниеносно сосчитал багово-яшмовые капиллярные сосуды на лице служителя потайной двери и, улыбнувшись, вытянул вперед ворох бумаг, будто это была пачка чаевых, толщиной с Библию.

– Собственно, мне сюда, – заявил я, выкатив белки глаз до разрыва век. Человек отхлынул назад, разом, словно в ножны, спрятав плечи, желваки и немую воинственность. Лиза все это время с любопытством смотрела на нас, теребя на шее платиновую цепочку, и, увидев мою негаданную победу, скрылась в саду. Напоследок она окончательно прижгла сетчатку моих глаз маслянисто-блестящим декольте. Учтиво трогая вокруг меня воздух белыми перчатками, человек вызвался проводить в дом. Буйная диковинная растительность открылась глазам во всем книжно-ботаническом многообразии. Я вежливо попросил посторониться огромного сангвинического павлина, прогуливающегося по мозаичным плитам дорожки, и едва не упал в декоративный водоем с косяком глазастых рыбешек (...). Из меня получится отменный корм, обещаю вам (...) Гигантское полотно блестящей кожи в ажурной раме декольте и цепочки покрылось сочной голографической татуировкой павлиньих и рыбьих хвостов, и, разросшись до космических размеров, раздавило мои глаза изнутри. Белая перчатка высунулась из плюща и поддержала меня за локоть. Я почти повис на руке служителя. Однако, когда он буквально приставил меня к двери, ведущей в двухэтажный особняк с белыми наличниками и черепичной крышей, я несколько встрепенулся и, обернувшись, сказал начальственным шепотом:

- У вас там над площадью летает парфянский дирижабль. Народ нервничает. Разберитесь...

Я вошел в просторный светлый холл с большим количеством плоских ламп, свисающих с потолка на тонких проводах разной длины, и, погасив звучные шаги ватным ворсом темно-зеленого паласа, приблизился к низкому столу, обставленному с трех сторон диванами, где, полузарывшись в подушки, полулежало огромное угловатое тело человека лет тридцати. Скользя по мне отточенным блеском зрачка, мужчина отбросил на стол пульт дистанционного управления аудиовидеокомплекса, который занимал плоским настенным экраном, огромными акустическими колонками и массивной застекленной стойкой значительную часть помещения, и, придав телу импульс с помощью одной руки, вскочил и приблизился ко мне так поворотно, что не задел ни одной подушки. Закатанные рукава безупречно белоснежной свежей сорочки открыли мускулистые руки, точно сеткой, обтянутые венами, а скромный деловой галстук подчеркивал крутую атлетическую грудь. Желваки, казалось, пробежались по всему периметру лица от подбородка до мощного коротко остриженного затылка, а серые спокойные глаза лучились всеми видами превосходства над окружающей действительностью.

- Вы Фома Рокотов?
- Да, совершенно верно.
- Можно, я буду звать вас просто Фома?
- Отчего же нельзя? Пожалуйста! – жизнерадостно ответил я, с удовольствием пожимая протянутую мне руку.
- Григорий Владимирович Балябин, очень приятно. Садитесь, мне докладывали о вас.

– Благодарю.

– Вы, насколько я понимаю, уже знаете, о чем пойдет речь.

– Да-да.

– Предложение вам сделано необычное, но это не должно вас смущать, ведь мы и живем в необычные времена.

Да... Итак, вам оказано большое доверие. По совокупности анкетных данных, результатам тестирования и собеседования вы подходите для...

– Я уже понял.

– Замечательно. Вы будете получать деньги, пользоваться всевозможными благами, свободами и полной безопасностью.

– Это понятно. Но, будьте любезны, все же объясните мне такую вещь... В договоре ясно написано «психологический натурщик». Мне не совсем, понятно. Какая связь?

– Поясняю. Все катаклизмы, которые потрясут нынешнее безликое общество, можно с высокой степенью сходства сгустить в пределах отдельно взятой личности. Согласитесь, что социология как абстрактная дисциплина, оперирующая столбцами цифр, для конкретного человека, сдавленного различными проблемами, мало утешительна. Вам объясняют, что количество верующих, больных, богатых, социально незащищенных в обществе меняется в ту или иную сторону. Но к вашей вере, боли, достоянию или надвигающейся старости это не имеет никакого отношения. Вы ищете спасение от боли, спасение от утраты смысла жизни, а вам подсовывают столбцы цифр с наукообразными объяснениями. Причем количество рабочих версий всегда превышает количество возможно допустимых вашим разумом. И в результате, злость и досада растут, потому что такого рода объяснения как нельзя лучше показывают, что вы никому не нужны. Посему в одной из лабораторий нашего министерства предложили оригинальный и довольно простой вариант решения социальных проблем, а именно: изучать общественные явления не на абстрактном сознании, а на сознании конкретных индивидов. То есть, речь идет о персонификации всей социологии и превращении ее из безликой дисциплины в дифференцированную науку, максимально приближенную к человеку. Вы, безусловно, можете возразить. Дескать, как же так, отдельно взятый конкретный человек? Ведь нет же двух одинаковых людей и следовательно, методики, подходящие для одного, никоим образом не годятся для другого. Следовательно, всякие изыскания обречены на провал. Но вот здесь и кроется вторая неожиданность, которая ждет вас. Подождите, – жизнерадостно изрек Григорий Владимирович. Пленительно грациозно разметавшись на диване и царственным жестом нажав кнопку дистанционного пульта управления, он вызвал все того же угрюмого лакея в белых перчатках и полосатой жилетке. Я заинтересованно воззрился на многосложный пульт управления, испещренный гигантским количеством кнопок и снабженный миниатюрными жидкокристаллическими табло и индикаторами. Неужели и лакей имеет централизованное управление и входит в состав аудио-видеокомплекса? Или он просто робот?

– Марк, вызовите к нам, пожалуйста, Эдуарда Борисовича.

– Ё-ё-ё! – Марк утвердительно сгруппировал мышцы, неумело копируя хозяина, чем, очевидно, и выразил крайнюю степень послушания.

Я обвел глазами строгую добротную обстановку, и только тут сообразил, насколько заместитель министра мыслит схожими со мною категориями, как похоже излагает. Кроме того, какой-то неуловимый знакомый стилистический привкус меня просто перепугал, словно вся эта августейшая туша живет схожей со мной Неверующей жизнью. Я принялся было считать плоские блюдца ламп под потолком, мысленно уподобив их плотному минному полю в темной толще вод, на одной из мин которого мне суждено было подорваться, будто одинокой заблудившейся субмарине. Дойдя до цифры «8», я вдруг увидел Лизу, вышедшую из другой двери. Она направлялась к нам, удовлетворенно лукаво рассматривая нас бесподобными голубыми глазами. Григорий Владимирович встrepенулcя, простер к ней правую руку, как-то очень по-своему хитро наматывая ее на Лизину талию, а левую выворачивая в моем направлении:

– Познакомься, это...

– А мы уже знакомы. Фома двадцать минут назад познакомился со мной на улице, чем несказанно и позабыл.

– Ах, вот как, однако. И часто вы пристаёте на улице к незнакомым женщинам? – спросил Балябин, изумленно повернув голову в полуоборот. Я смущенно сжал плечи, тем же движением вывинчивая из них голову, отчего раздался новый смех Лизы.

– Да, ну ладно. Принеси нам что-нибудь выпить и иди наверх. Я освобожусь через час, если голодна, съешь там чего-нибудь.

Они

## § 16

столкнулись в дверях, Лиза и Эдуард Борисович, и от меня не укрылась его слащавая улыбка, которой он перемазал ей всю грудь.

– Мы знакомы, – вставил я более уверенно.

– Да-да, – сказал референт, не отнимая глаз от объекта сладострастия, и, еще находясь в его власти, растерянно протянул мне жирную руку.

– Продолжим. Так вот, Фома, Эдуард Борисович в некотором роде наиценнейший человек, ибо, является моим референтом по вопросам этики и биоэтики, он также возглавляет одну из известных вам Этических консультаций, и, что самое примечательное, является энтузиастом всех исследований, которые ведутся в этой области. Ему принадлежит право изобретения «Системы социальных экстраполяций», ну и, кроме всего прочего, в ряде лабораторий, которые он курирует, вытворяются прямо-таки чудеса. Итак, вернемся к нашему разговору о том, какая же существует связь между вами, психологическим натурщиком, и Этическими консультациями. А связь очень простая и явная. Мы используем вас как модель, на которой в концентрированной форме исследуются воздействия социальных проблем, и вырабатываем средства индивиду-

альной защиты и устойчивости для отдельно взятого человека. Используя затем правила социальной экстраполяции, расширяем их действие через Этические консультации на возможно большее число граждан и таким образом снимаем возбужденность, напряжение и неудовольствие в народе. Потом, берите шире – оздоровим нацию! У Эдуарда Борисовича имеется еще несколько секретов за душой, о которых мы вам сейчас с удовольствием и поведаем.

Референт удовлетворенно огладил живот, перекатывающийся от тугих сопящих вздохов, и, сидя в глубине углового дивана, наконец сказал:

– Поскольку вы, Фома Фомич, уже подписали контракт, мы разговариваем с вами на равных, ничего не скрывая. Поговорим подробнее о том, что Григорий Владимирович подразумевает под словом «воздействие». Речь, как вы сами понимаете, идет не о пассивном, а об активном воздействии на человеческую природу в целях улучшения, избавления от всякого рода криминогенных вкраплений и в результате создании типа желаемого подданного и гражданина. Вы, как образованный человек, знаете, безусловно, что медицина последнее время своим пугающим всеисилием все больше вмешивается в наши классические представления об исконных человеческих ценностях. Скальпель и фармакологические препараты все чаще вторгаются в святая святых человека, изменяя не только его судьбу и внутренний мир по воле врача, но уже самую сущность понятий добра и зла, в которые погружена жизнь человека. Мы стоим на пороге создания синтетического человека, который будет испытывать боль, страх, любовь, гордость, унижение совершенно по-другому, чем мы с вами, и куда заведет нас этот прогресс, прогнозировать невозможно. Прогресс, увы, перестал быть средством, он стал единственной я самодостаточной целью. Медицина все больше становится главным институтом, осуществляющим социальный контроль, отодвигая на второй план более традиционные институты – церковь и закон. Суждения «во имя здоровья», а также оперирующие ярлыками «здоровье» и «болезнь» считаются адекватными по отношению ко все увеличивающейся области социальных явлений. Количество точных дисциплин, направленных в самую сердцевину метафизической сущности человека, множится не по дням, а по часам: геновая инженерия, медицинская генетика, медицинское экспериментирование на людях, модификация поведения с помощью фармакологических и нейрохирургических средств, практика эвтаназии и т. д.

Человеческая смерть – это отнюдь не то, за чем раньше следовал занавес трагедий. Она имеет теперь множество самых разнообразных критериев определения, которые размыкаются с каждым новым открытием, а пациент все чаще подписывает с врачом контракт на вторжение внутрь себя, где детально рассматриваются возможные варианты последствий. Одним словом, вечные человеческие ценности все больше определяются медицинским путем и уровнем технического развития, а не моральными установками общества...

По-моему, лампы начали раскачиваться в такт нарастающему синтетическому шуму в ушах. Я провел рукой перед лицом, где, судя по моим ощущениям, сейчас находился фокус всех чувств. Двое людей, сидевших напротив в непринужденных позах, покрылись вдруг какой-то оптической сыпью, будто неустойчивое телеизображение. Я принял их за классический клоунский дуэт, состоящий из долговязого серьезного парня и маленького веселого толстяка. Хотите запустить скальпель в священное Неверие и, измерив его, описать горстью скучных формул? Хотите осквернить мой стереодневник своим тупоумным вторжением? Я интересую вас не более, чем кролик, подающий признаки жизни после многократной летальной дозы радиации?

У нас происходят метафизические смотрины (...)

Я воюю не с миром, не с административно-политической системой, я вызвал на бой абсолютную идею...

«Бог смог наказать Адама и Еву, потому что они не согрешили до конца. Преступление наказывается, когда оно мало, и превозносится и награждается, когда оно велико». [Джованни Папини.]

«Кто умеет овладеть вещью и утвердиться во владении ею, тому она и принадлежит до тех пор, пока ее не отнимут у него; – так же обстоит дело и со свободой: свобода принадлежит тому, кто умеет ее взять». [Макс Штирнер.]

«Кто стремится к обществу, тот необходимо должен господствовать над ним». [А. Хойс.]

Все познается в сравнении, особенно когда сравнивать не с чем – вот базис любой доктрины.

Можно пострадать и за убеждения, если больше не из-за чего.

Самый лучший полигон для проверки прочности человека – лицемерие. Смотришь и недоумеваешь, как он еще не разрушился?

В самом страшном сне главное – это вовремя проснуться.

Вкладывание денег в свои удовольствия и свое хорошее настроение – самый доходный бизнес.

Дотошные правдолюбцы придумали детектор лжи. Теперь двое этих государственных мужей будут испытывать на мне детектор правды.

Они продолжали говорить уже вместе, точно забрасывали меня, еще живого, камнями. До меня донеслись их реплики, соединившиеся в целый истребительный камнепад:

...новые этические проблемы...

...право на смерть...

...сверхъестественный фактор, в виде божественной воли...

...специальные отношения, с пациентом, независимо от содержания оказываемой помощи...

...область принятия биоэтического решения...

...возникновение медицинского шовинизма...

Они поменялись местами то ли оттого, что затекли ноги от долгого сидения на диване, то ли оттого, что им показалось, будто напыщенные речи их не имеют желаемого психологического эффекта.

– Можете себе представить, – не унимался Эдуард Борисович, пробегаая остриженными ногтями по лысине и отодвигая ее на самый затылок, – что, взяв у человека самые элементарные медицинские анализы, вы сможете установить его

национальность, принадлежность к социальному страту, определить вероисповедание, указать убеждения, вплоть до сексуальных и эстетических вкусов. А если можно определить, то, следовательно, можно их изменить и сделать биологическим, химическим или оперативным путем из человека то, что необходимо. Вообразите себе только, какой необъятный пласт проблем проявится, как только мы расширим практику трансплантации человеческих органов. Тема свободы и обязанности дарить, щедрости и индивидуальной заинтересованности в дарении вновь возникнет в нашем обществе как возвращение давно забытого мотива. Трансплантация органов – это недавнее медицинское достижение, которое оживило интерес к таким проблемам, как обмен подарками и социальная солидарность. Возникает перспектива появления рынка со свободно складывающимися ценами, где предметом купли-продажи становятся органы человеческого тела и, берите шире, в придачу к ним – соответствующие реакции, ощущения. Вы только представьте, что можно будет купить по сходной цене: целые группы чувств, убеждения, предрасположенности, воспоминания, счастье. Наконец, целые периоды жизни, вкуските лавры победителя, многоженца, авантюриста, изведать муки творчества, сладкие грезы первой любви – и все это, не продав ничего на самом деле. Любому можно будет испытать чувства царя, святого, негодяя. Мы вступаем в эпоху, когда можно будет почувствовать феерию танца, не имея пластики балерины, или познать авторство чуда света, не вставая с дивана.

– Потрясающе! – резюмировал я и, наклонив голову, стал рассматривать двух государственных людей, удивляясь не свойственным мне рафинированным удивлением. То, что окружает меня, не люди, не факты, не идеи, а всего лишь галерея покосившихся картин.

– Скажите, пожалуйста, Эдуард Борисович, а что такое «Система социальных экстраполяций»?

– Ну, это довольно сложная и, на первый взгляд, фантастическая система, отчасти похожая на таблицу Менделеева, только не для химических элементов, а для людей, занимающих то или иное положение в обществе. Дело, видите ли, в том, что наши связи с людьми и самый характер отношений воздействуют не только на психику, привычки, образ мыслей, но гораздо глубже – на фенотип человека, а через него влияют уже на наследственность. Занимательную штуку открыли у меня в лаборатории, Фома Фомич. Оказывается, не только типы людей находятся в четко структурированной взаимосвязи, так что один характер с определенными свойствами возникает в социальной ячейке, а никак не другой, но даже литературные персонажи, если их увязать один с другим, образуют прочное взаимосвязанное полотно человеческих свойств. И вышеозначенная система социальных экстраполяций в зависимости от входных и выходных данных человеческого бытия позволяет конструировать всю архитектуру личностного образа с вероятностью прямо-таки обескураживающей. Эдакая социально-психологическая таблица Менделеева. А в нашем конкретном случае данная система просто необходима, ибо, скрупулезно изучив все реакции конкретного психологического натурщика на внешнюю среду, мы сможем затем экстраполировать их применительно ко всем слоям общества и группам населения и наконец-то создать целостную картину общества. Причем, заметьте, картину детальную, так что на ней можно будет разглядеть человека во всех мыслимых деталях настроений и убеждений.

Я выпрямил голову, встал во весь рост и довольно громко провозгласил:

– Чудесно, обещаю быть хорошим редкоземельным элементом таблицы Смысловского.

Они пристойно рассмеялись, с удовольствием размяв напряженные лица. Появилась легкая и обворожительная Ли-за со множеством красиво приготовленных коктейлей на расписном подносе. С некоторым недоумением она посмотрела на меня, предложив самый высокий бокал с лимонной долькой на боку (...) Меня пригласили в качестве понятого при обыске моего же Неверия, и у меня еще хватило сил паясничать (...) Присутствующие непринужденно разговорились, усиленно жестикулируя, и чуть не расплескали цветное содержимое бокалов, а про меня забыли, будто про часового возле ограбленных египетских пирамид...

– Кстати, Фома! – все трое простерли ко мне свободные руки, затягивая в свой эмоциональный говорливый клубок, и увлекли в глубь жилища. Путаясь в дверях, рыхлых предчувствиях и абберациях совести, я выбился из сил от всей этой чертовщины. Длинный коридор был увешан картинами с изображением шутов всех времен и народов, из их числа я признал лишь лица Семена Тургенева, Никиты Трубецкого и Николазо Пертузато.

Я прошел сквозь этот коридор, как сквозь свой блокнот.

Почти сбив с ног неуместным запахом модного коринфского одеколona, Эдуард Борисович высунулся вдруг из-за огромного книжного шкафа и гаркнул мне в самое ухо:

– Фома! Условиями договора предусматривается ваше свободное посещение этого дома и даже проживание в одной из комнат второго этажа, а также регулярное получение некоторых сумм наличных денег для того, чтобы эксперимент протекал беспрепятственно и безо всяких там... ну... осложнений, – и он сунул мне липкий от ликера конверт с такой настойчивостью, что, наверное, испортил все водяные знаки на купюрах. Резко заиграла какая-то бравурная музыка, разом хлопнуло несколько дверей, резко звякнуло полторы тонны всякой посуды, и я остался совершенно один в коридоре, увешанном изображениями -старинных шутов. Посмотрев под ноги, на длинном бледно-желтом ковре я увидел два маленьких кровавых пятна и, со сверлящим, ужасом вспомнив свое назначение в этом доме, схватился за пиджак так, где лежал блокнот...

Периферийным зрением ухватил близкое присутствие живого организма и, нервно сломав красный грифель карандаша, я резко обернулся к человеку в полосатой жилетке, белых перчатках, черной бабочке и изобразил из своей физиономии огромный вопросительный знак:

– ?

– Вам предлагается посетить закрытый фонд Центральной Национальной библиотеки, а вечером вас приглашают в баню, – сказал прилизанный человек.

– Мне нужно отправиться туда сейчас? – спросил я, поспешно пряча блокнот.

– Как вам будет угодно, – глухо молвил человек, обегая мою внешность пластмассовыми глазами по одному и тому же маршруту. – Вот ваш пропуск, – он помедлил немного и, обозначив нетщательно выбритый кадык, добавил: – Ваша комната на втором этаже готова.

– Благодарю, – пряча пропуск в кармане, подмигиваю статуэтке стеклянного амура, застывшего в игриво-сладоэротической позе на высокой тумбе, и покидаю дом, подгоняемый далеким и едва уловимым Лизиним смехом. Наверное, это правда, что человек живет по принципу наибольшей экономии чувственных содержаний (...)

Ничто так не разрушает, как необходимость оправдываться. Только начни – и не успеешь оглянуться, как ты уже стал существом более низкого порядка.

...в моем кармане робко звякнули мелкие деньги, и я выбросил их в декоративный бассейн к глуповатым цветастым рыбешкам, когда проходил мимо.

Если плохо на душе – займитесь телом, если плохо телу – врачуйте душу.

...Я уже на улице и, закрываясь рукой от солнца, смотрю на небо и вижу там все те же полигамные облака, что и обычно.

Мой язык не инструмент, мой язык – оружие.

«Величие каждого соответствует величию того, с чем или с кем он боролся. Кто борется с миром, становится еще более велик победой над самим собой, тот же, кто борется с Богом, становится превыше всех». [Серен Кьеркегор.]

«Церковь, народ, отечество, семья и т. д., которые не сумели возбудить во мне любовь, я не обязан любить, и я сам по своему усмотрению устанавливаю покупную цену моей любви». [Макс Штирнер.]

«Слова, которые остаются в глубине сердца, выражают мысли, противоположные словам любви и уважения, адресованным королям и Богам». [А. Безансон.]

Я снял нарукавную повязку христианского мыслителя с надписью: «Непротивление злу насилием» и натянул повязку языческого жреца с надписью: «Противление злу организованным насилием».

Государство судит меня по законам сегодняшнего дня, а история – по законам вечности.

Я, как и все мои предки, никогда не буду государственным философом. Над моей головой могут запросто заменить Бога, даже не спросив об этом. Дюжиной спелых лозунгов могут уничтожить все, чем я дорожу. Государство разрешает мне выражать все мысли и пользоваться ими, но все же это до тех пор, пока мои мысли – его мысли. Если же я обнаруживаю мысли, которых оно не одобряет, т. е. не может сделать своими, то оно мне абсолютно запрещает пользоваться ими, пускать их в обмен и обращение. Мои мысли свободны только тогда, когда государство дарует их своей милостью, т. е. когда они мысли государства. Свободу моего философского мышления оно допускает только тогда, когда я – «государственный» философ. Против государства я не смею философствовать. Я должен смотреть на себя как на Я, благосклонно пожалованное мне и разрешенное государством. Мои пути должны быть его путями, иначе оно покарает меня. Мои мысли должны быть его мыслями, иначе оно заткнет мне рот.

Ничего так не боится государство, как моей самооценки, и ничего оно так не старается предотвратить, как всякую предоставляющуюся мне возможность самооценивания.

Я – смертельный враг государства, у которого только одна альтернатива: оно или я.

Наперекор государству чувствую все яснее и яснее, что во мне есть еще великая сила – власть над самим собой, то есть над всем, что свойственно только мне и что существует только как мое собственное.

Что же делать, если мои пути – не его пути, мои мысли – уже не его мысли? Я опираюсь тогда на самого себя и не спрашиваю у него разрешения. Мои мысли, которые не надо санкционировать никакими соизволениями и милостями, – моя настоящая собственность. Собственность, которой могу распоряжаться и пользоваться.

Все государства, все религий и политические доктрины всех времен и народов боялись меня более всего, потому что я,

## § 17

Фома Неверующий,

торжествую всем назло и обещаю, что все неистовство, всю мощь и изобретательность употреблю на то, чтобы не позволить завоевать мою вечную Неверующую душу. Я разрушу все системы и догмы волевым жизненным прорывом, который не ведает правил и не знает границ. Я уничтожу и прокляну всех, кто только вздумает корить, вразумлять и поработать меня.

Мировая история – это моя борьба с вечными врагами моими, это борьба человеческого начала с искусственными формированиями, направленными против него. Стоит хоть раз просто вслух произнести священный гимн «Я ХОЧУ!», как тотчас религия, политика и государство нападут на меня мощью всех вековых устоев. Но я удержусь.

Все враги мои объединились и создали новое вселенское изощрение – Утопию, потом другую, третью... Но я устоял.

Все Утопии объединились против меня и создали Государство-Утопию, во чреве которого я теперь живу.

Государство-Утопия пообещало всем счастье, а счет невинных жертв идет уже на десятки миллионов.

И тогда я поклялся на Неверующей крови моих предков, что истрачу всю свою вневременную суть без остатка на борьбу с Утопией.

1 июня 1992 года я перешел в тотальное наступление на Утопию на всем протяжении человеческой истории, от каменных топоров до компьютеров, и по всей глубине человеческого духа, от низменных устремлений до веры в Бога.

Грязная, лживая, кровавая тварь, я уничтожу тебя!

Я уперся в грудь престарелого служителя с желтыми глазами, одетого в бесцветный костюм и посмотрел на огромную вывеску, под которой старец расхаживал:

## Центральная национальная библиотека

– Вы к кому? – грянул на меня вопрос, будто с вывески.

Я подтянул плечи к носу, тем же движением вынимая пропуск.

– Спасибо, – говорю, насладительно размазывая благодарение по воздуху. Два более молодых ершистых человека в одинаковых костюмах значительно внимательнее изучали мой пропуск и впустили меня еще с меньшим желанием в огромные непроветренные помещения с надписью:

## Специальный фонд

Один из них более жизнерадостной наружности и с хитро порезанной после утреннего бритья щекой долго объяснял мне, как между сотнями стеллажей найти кабинет заведующей. Он потратил на меня все запасы мимики и жестикюляции на месяц вперед, словно я был иностранцем. Недостаток освещения и мысли космического масштаба не дали приглядеться к фасаду, внутреннему убранству, людям и иным особенностям этого заведения. Что поделаешь, я теперь высокооплачиваемый государственный шут и могу позволить себе роскошь проноситься везде очертя голову. Тихий бесполоый шепот под стать сладковатому воздуху огромного хранилища спровоцировал в памяти что-то из области детства и, едва я успел обрадоваться чудному видению, как меня в неглиже улыбки застала дама средних лет, назвавшаяся заведующей специального фонда. Одевание деловой женщины с немыслимыми складками и оборочками на бледно-розовой блузке заставило меня поскукнеть. Отечное лицо с воспаленными глазами, опереточная композиция из волос и белых костяных гребней, желание казаться остроумной и светской дамой высокого полета, многочисленные пыльные жгуты сигнализации, распределительные щиты, ступени темно-рыжего цвета, магнитные жетоны для автоматизированного прохода в хранилище, люди с лицами, похожими на кобуры для пистолетов, узкие френчи военизированной охраны, комбинации букв и цифр на несметных серых металлических ящиках, разбивающие все пространство на квадраты, – все это ровными пластами ложится мне на глаза.

– Что здесь хранится? – спрашиваю я даму номенклатурно невыразительным голосом.

– Это подробный каталог несозданных произведений искусства...

Долго по крупицам я буду вбирать ноздрями из окружающего воздуха все сколько-нибудь пригодное для моих бездонных резиновых легких, а заведующая будет приглаживать невидимые складки на юбке и, взяв меня под локоть, буквально тыкать носом в скопища черных цифр и букв. Моему деланному восхищению не будет пределов...

– Наш каталог подразделяется на части света, затем на страны; далее, внутри раздела каждой страны представлены все виды искусств, а вот этот крайний правый индекс указывает, из-за чего не было создано данное произведение, числящееся в генеральном систематическом каталоге: ввиду политических преследований автора, из-за безденежья, из-за лени, по вине родственников, по вине местных властей, из-за недостатка культуры, ввиду неудовлетворительных условий творческого процесса, ну и так далее...

Жуткий промозглый электрический звонок и картавый выкрик охранника откуда-то из-за щитков сигнализации довели меня до морального помешательства и отвлекли женщину в сторону, так что, не помня себя, я схватил рукоять одного из ящиков и дернул на себя с брезгливостью и неистовством.

Прядь волос, старинные очки в роговой оправе с треснувшим стеклом, какая-то полуистлевшая бирка с каракулями надписи химическим карандашом, изрядно обгоревшая тетрадь, обрывок усердно измятой фотографии грудного ребенка и потертый флакон непонятного назначения – это было все, что открылось моим очам в просторном ящике (...)

Мгновение спустя женщина вела меня под руку вдоль стеллажей, рассказывая историю создания фонда и краткую биографию его основателя, а потом, как нечто само собой разумеющееся, подытожила:

– Так что, как видите, самая большая страна занимает самое большое место в хранилище, – и резко замолчала, внимательно разглядывая мой дрожащий лоб.

– Хранилище того, чего нет? Того, что навеки отнято у культуры?

– Звучит странно, но факт. Причем факт систематизированный и каталогизированный, – молвила женщина, морща лицо, и я разглядел старый бледный шрам на ее переносице, умело хоронившийся все это время под пудрой и говорливостью.

«Извините, до свидания», – я резко стряхнул ее руку и помчался к выходу, все время показывая пропуск, который направлял проштампованной поверхностью на все движущиеся предметы в здании, будь то одушевленные или неодушевленные. Я чувствовал судьбу неведомого мне творца, будто старый надоедливый протез на теле, что за давностью лет не причиняет боли, а вызывает лишь неприятные ощущения и воспоминания об утраченной части тела, раскрашивая то краткое мгновение утраты в ужасный бесконечный миф (...)

На улице мне предложили вступить сразу в несколько политических партий, перевести некоторую сумму денег на счет грандиозного проекта века, заключающегося в изменении орбиты Луны с тем, чтобы повысить эффективность приливных электростанций на Земле, заняться любовью с тремя карликами разных рас, выслушать научный доклад на тему «Кинематические основы изячных телодвижений» в Академии независимого творчества, сделать педикюр, стать владельцем акций одного метра Великой Китайской стены (любого по выбору), выучить эгейский язык по новой методике, сидя в воде, принять добровольное участие в раскопках кургана, выиграть Искушение святого Антония в психоделическую лотерею и купить килограмм метеоритной пыли.

«Великое дело – стремиться к вечному, но еще более великое дело – держаться временного, отказавшись от него».

[Серен Кьеркегор.]

«Весь романтизм и рыцарство ухаживания за предметом желаний воскресает в конкуренции». [Макс Штирнер.]

«Народ, предоставленный самому себе, всегда желает добра, но не предоставленный самому себе, он не всегда твердо знает, что это такое». [Л. Халле.]

«Мы растеряны, недоумеваем, когда слух наш оглушен тысячью высоких и чистых слов, а глаз утомлен кровью, мерзостью, ужасом. И между тем, этот непонятный контраст, это непостижимое противоречие дел и слов есть противоречие внутренней природы человека, как она есть, и внешней действительности, как она тоже есть, – контраст залога и исполнения, усилия и осуществления». [В. В. Розанов.]

Мечтая об элементарной экологии мышления, я приблизился к бане, хотя вход в это заведение больше напоминал загородную резиденцию провинившегося царя, где не было никаких чаяний о культуре тела. Но я моментально вспомнил о чудесном свойстве моего пропуса, в который еще не удосужился заглянуть ни разу, и ткнул его в лицо первому попавшемуся ротоzeugу, что приготовился было чихнуть.

– Будьте здоровы, – выпалил я и напал с расспросами. Оторвав внимание от носового платка, человек с лицом, похожим на запятую, небрежно указал мне кивком головы, куда именно нужно следовать. Уже в здании меня бойко окликнули, предлагая купить душистый веник и остальные банные принадлежности, что я и сделал, долго выбирая цвет мочалки. Я прошел в небольшую залу со светлыми мраморными стенами и, быстро сбросив одежду, занял шкаф. Пиджак долго сопротивлялся, съезжая с пластмассовых плечиков. Наконец, вооружившись веником, я отправился на поиски парной. Клубы сырого пара выбросили из-за деревянной двери дух разгоряченных людей, картинно изнемогающих на последней стадии телесного блаженства, отчего все рецепторы моего тела сжались. Я шагнул в самое клубящееся месиво нестерпимо плотного пара и, щурясь и приседая, воззрился на колоритную группу из пяти мужчин, разметававшихся в самых разнообразных позах на деревянных полках.

– Разрешите представить вам Фому Рокотова, нового члена нашего общества, – сказала большая груда мускулов, покрытая каплями пота, каждая из которых была величиной с маслину. Я присел еще ниже, как бы здороваясь и одновременно приготавливая свое тело к яростным тепловым ваннам. Пронзая пар, ко мне протянулись руки для пожатий. Я ухватился за каждую по очереди, но, сморщившись от жары и глотая воздух, не упомянул имен. А последняя рука, оказавшаяся самой большой, властно, но вежливо протянула меня к себе, приглашая усесться рядом. Это был Григорий Владимирович. Короткие упругие волосы торчали в разные стороны, и голове явно не хватало венка, а мощной руке – спелого фрукта, чтобы дополнить сходство с отдыхающим патрицием. Рельефное тело заместителя министра было похоже на мраморную стену из предбанника, так ясно обозначились на нем следы дубового веника.

– Познакомьтесь, Фома, – сказал он, указывая водя вокруг себя рукой от одного мужчины к другому. – Вот это писатель, вот это бывший космонавт, это живодер, а это... это изобретатель флагов.

Таким образом, в парной нас оказалось шестеро. Мы обсудили качество бани, что-то еще и, не зная уже, чем утешить себя, я обратился к писателю – высокому угловатому человеку с хилым телом.

– Осмелюсь спросить, над чем сейчас работаете? – произнес я почти утвердительным тоном, так как успел почувствовать в горячем воздухе самую доброжелательную мужскую атмосферу, каковой и надлежало быть в бане.

– Пишу сценарий о нашей жизни, – ответил писатель, лениво похлопывая себя по бокам изношенным веником, точно выгоняя из тела последние остатки удовольствия. Он чавкал пухлыми губами, отплевывался от пота, стекающего с длинных темных волос, гладил себя по впалым щекам, как-то смешно подрагивал худым безволосым телом и продолжал, глядя в потолок: – Не знаю, что из этого выйдет: радиоспектакль, автородео, видео-шоу – не знаю, – повторил он, экзальтированно мотая головой. Ощувив некую поляризацию в теле, я увидел в своих новых знакомых персонажах хитроумной менипповой сатиры. Сочинив в мозгу конструкцию дальнейшего поведения, а также, вновь напомнив себе о своем назначении здесь, развалился на полке, вопросительно посмотрел на великодушно улыбающегося Григория Владимировича и спросил уже громче, с усилием беззастенчивого репортера:

– Скажите, а в вашем творчестве есть сильные положительные герои?

– Случается, заносит и таких.

– А как вы их делаете?

– Делаю? Хорошее определение. Да очень просто: беру отрицательных и четче их прорисовываю.

– Хорошо, а как же тогда вы создаете отрицательных?

– Еще проще. Оставляю положительных на полпути к чему-нибудь, и они сами собою начинают пакостить. Да так проворно, что оглянуться не успеешь.

– Скажите, а вас не пугает такая исчерпывающая простота в формулировках?

– Нет, не пугает. Меня больше всего пугает другая простота, благодаря которой пародия сделалась целой самостоятельной областью современного искусства независимо от жанров. Всюду уже говорят запросто: «Это пародия», – и уже затем добавляют: «Это фильм, роман или книга».

– А кто же в этом виноват?

Казалось, он вырвался из каламбурного круга, так импонировавшего ему сначала, покинул состояние развязной неги и блеснул карими глазами:

– Как кто? Критики.

В углу визгливо рассмеялся жизнерадостный пожилой человек, представленный как изобретатель флагов. Удовлетворенно заурчал названный живодером мясистый толстяк, занятый приготовлением ароматической настойки для поливания раскаленных камней, и звонко икнул бывший космонавт, оказавшийся пьяным. Оживление казалось всамделишным.

– Все критики, и литературные в частности, – не унимался писатель, назидательно-беззлобно толкнув в спину живодера, – подразделяются на две обширные категории: принадлежащие к первой наделяют критикуемых авторов пороками при жизни последних, а относящиеся ко второй одаривают пороками после их смерти. А все по очень простой причине:



критик так же относится к автору, как Ева к Адаму. Та же патологическая зависть, взрывающаяся истерическими нападками очернительства. Та же капризность под маской беспристрастности, та же органическая потребность жить за счет другого. Увы, но факт остается фактом: Ева, как и все критики, сделана из ребра. Адам, автор, первичен, а Ева, критик, вторична. Остальное – пустяки. Ну, ладно, пойдете в бассейн, а то я что-то устал. Да и глаза, того гляди, выскочат вместе с сердцем.

Возбужденной ордой мы выкатились из парной, толкаясь возле циркулярного душа с холодной водой, издавая полную гамму возгласов, и умиротворенно прыгнули в бассейн.

– Любопытная мораль у тебя, писатель, – просопел живодер, проплывая мимо моего собеседника, так что крутая волна накрыла его с головой.

– Не любопытная, а разная, – обиженно парировал писатель, зло отплеываясь и отбрасывая пряди волос назад.

– А разная потому, что мы с тобой – люди разного темперамента и даже разного формата, – подытожил оптимистически настроенный толстяк, ныряя с головой настолько, насколько позволяла глубина бассейна.

Все это напомнило мне малую мифологию нашего большого времени (...)

Свежесделанным идиологом племени гигантов Григорий Владимирович Балябин вышел из бассейна, хрустя красными резиновыми тапочками. Струи воды неслись с его тела даже быстрее, чем под воздействием силы тяжести. Он зажмурился и, наконец, потянувшись всем телом, пригласил меня и всех остальных в соседнюю комнату, предназначенную для отдыха. Высокий потолок, стены, пол – все было обито деревом разных пород, очевидно, весьма полезных для расслабленного жарой и влагой тела. Византийский стерео-телевизор с диагональю кинескопа более метра бодрствовал, переливаясь хорошо подобранными сочными цветами какого-то космического варьете, будучи подключенным к нумидийскому лазерному видеопроигрывателю, а новенький атлетический станок для самых немыслимых силовых упражнений соседствовал с огромным фессалийским холодильником, снабженным программатором задаваемой температуры. Банки с темным ледяным пивом парфянского производства моментально разошлись по рукам, наполнив помещение новыми мажорными возгласами. Мы безвольно расселись в креслах, обмотавшись махровыми полотенцами, и живодер, сидевший теперь со мною рядом, осушив уже банку и смяв ее, точно бумажную, напыжил складки жира на шее, сказав:

– Вот ты, писатель, ловец человеческих душ, пророк, властитель дум. Но если сбросить с писателей всякую словесную бутафорию их произведений, то очень легко можно будет убедиться в том, что вся мировая литература – это скопище физически неполноценных неудачников, живущих за счет своих и чужих жен. О ужас! И эти-то люди – наши духовные наставники, кормчие в бескрайнем океане бытия. Ужас, ужас!!! Чему же могут научить меня эти люди? Конечно, только болезненной рефлексии и плаксивой неудачливости под эгидой служения истине, прозрению и тому подобным бестелесным воровским категориям. Хроническое бездействие, нежелание жить, неумение жить – и все это, раздутое неумным словоблудием на миллионах страниц, от чтения коих хочется опустить руки и сесть в грязь. Все ваше современное искусство – это подробный комpendий, содержащий все виды эрозии здоровых природных инстинктов, и ничего более. Всюду стоны, психические нарушения, истерии, психозы, блажения. Ничего гордого, сильного, помпезного, жизнерадостного. Стыд, срам и только.

– Так что же вы предлагаете, дра-ажайший? – почти пропел вдруг космонавт, все время сидевший тише всех. Небольшое, но крепкое его тело уже хранило отпечатки физической неухоженности человека, привыкшего все свои жизненные красоты и удачи связывать только с прошедшим временем. Лицо его сохраняло натужные аристократические мины, свойственные многим представителям первого поколения интеллигенции. Он по-гусарски вздымал бровь, при более детальном рассмотрении оказавшуюся опаленной.

– Сжечь все книги, не содержащие

## § 18

афоризмов, вот что я предлагаю, дражайший. И вы сами увидите, какое наступит облегчение повсеместно, потому что книги, не содержащие афоризмов, отвлекают и расслабляют.

– Справочник молодого живодера, конечно же, уцелеет после этой чистки? Ого-го! – воодушевился космонавт, усиливая смехом икоту и подрагивая плечами, усыпанными янтарными каплями влаги, такими же, как на пивных банках.

– А почему бы нет? Ведь Мартин Хайдеггер участвовал в сожжении книг в 1933 году, а двенадцатью годами позже активно участвовал в разработке теории национальной вины. И на протяжении почти всей жизни считался живым классиком, основоположником самого гуманного направления в философии. Главное выжить, и выжить в книгах в том числе. А писатель? Как ты думаешь?

– У тебя образование какое-нибудь есть? – вежливо спросил космонавт, нешуточно перепугавшийся оттого, что услышал фамилию «Хайдеггер», ибо она неудобно легла ему на ухо.

– Есть высшее техническое и аспирантура, – ответил живодер, нарочито вульгарно почесывая волосатую спину, точно покрытую металлической чешуей.

– И что же? – спросил жизнерадостно ерничавший изобретатель флагов, приглаживая морщины.

– Как что? Надоело подменять цель средствами. Слава Богу, естество взяло свое, ведь оно любит брать верх независимо от слов политиканов, ангажированных моралистов и писателей. Дома мне сказали: «Ты прилежный мальчик, иди в технику, для мужчины это прилично и солидно: быть в науке или при ней. Будешь ее двигать, насколько ума хватит, и все у тебя будет хорошо». Ведь это был лозунг моего поколения: «Быть при большом государственном деле...» Одна беда: чем больше дело, тем меньше ты на его фоне. И чем оно государственнее, тем ты незаметнее. Наука – это самоподавление во имя результатов, имеющих далекую сомнительную ценность. Да если и имеющих, что с того? Мое высшее образование должно быть средством в жизни, а не самоцелью. Я не формула и не теорема, требующая доказательств, а аксиома. Я понял, наконец, что наука не может быть средством в моей жизни, что она безумно скучна, а победы ее эфемерны. Я вот

женщину хочу. Сейчас хочу. А чтобы дарить цветы, водить в рестораны и вообще чувствовать себя полноценным кавалером, мне нужны деньги. А чтобы их заработать, я должен убить в себе все инстинкты, мучаться над какой-нибудь гадкой ерундой, которую трудно выговорить и невозможно понять, как она работает. И потом, спустя долгое время, разрешить своему израненному нутру получить, наконец, то, что принадлежит ему по закону природы. Ну, что, писатель, как все просто а? Скажи по телевидению на весь мир: «Я хочу, и мне наплевать на все законы, потому что я живой человек!» Ну, скажи. Давай! Не можешь, потому что ты ангажированный писатель. А я хочу есть, пить, любить, смеяться, кричать. Хочу много и сейчас, немедленно, или сойду с ума. И мне совсем не стыдно своих желаний. Но в науке всему этому места нет. Или она – или я. И тогда во мне проснулось животное, перегрызло хребет этой науке и долго рычало от злобной радости на ее трупе.

Мы забылись в креслах, всецело отдавшись закрутившимся в наших умах мыслям. Целые стереоскопические панорамы из разношерстных жизней, но с одной неременной надписью на боку: «ТАБУ», промчались сквозь нас. Это отчетливо было видно в глазах, утративших прозрачность от воспоминаний. У живодера был вид триумфатора, изможденного одинаковыми победами. Он уронил свою круглую коротко стриженую голову с плоским некрасивым, но волевым лицом и, отбросив смятую пивную банку, продолжил уже тише:

– Любопытное государство для нас изобрели, любопытное именно своей моралью. Сколько ни читал утопистов, классиков и вождей, нигде, ничего не нашел о том, что делать в условиях нашего государства человеку со способностями и запросами выше среднего уровня. Ответ исподволь напрашивается один. Если тебя угораздило иметь темперамент, чувствительную душу, большой желудок, утонченный вкус, уникальные творческие способности – тебе лучше умереть, тебе нет места среди равных. Среди равных во всем: в простоте и убожестве, в чувствах и умениях. Это величайшее помутнение мирового разума. Как же можно эту Утопию воспринимать всерьез, да еще, основываясь на ее постулатах, строить государства с многомиллионным населением? Ибо во всех этих наукообразных помпезных трудах люди будущего не имеют даже элементарных... половых различий, не говоря о чем-то большем. Это просто безликая бесполовая масса счастливых идиотов, счастливых своим одинаковым бесполом счастьем. У меня создается впечатление, что все социалисты-утописты были импотентами с извращенной психикой и, чтобы досадить нормальным людям, изобрели им на голову свои жуткие Утопии. Прочтите классиков социализма! Ведь их фантазии не имеют пола. Все эти обширные труды, которыми нам забивают мозги с детства, не более чем практический материал для психиатров и психоаналитиков, так как беспечной уравниловки может желать лишь импотент, как физический, так и духовный.

Живодер уставился на меня немигающими глазами и, подозрительно ища то ли участия, то ли поддержки, а может быть, просто изучая, как любопытное пестрое насекомое, неспособное к его уровню мирозерцания. Но здесь очень нехотая зычно икнул из-за его спины космонавт и изрек нечто следующее:

– С вами невозможно не согласиться, дорогой коллега, – начал он, глядя в потолок, словно перенесясь на разбор очередного космического полета. – Мне очень, к примеру, нравится очередная лозунг: «За коммунизм с человеческим лицом». Но ведь это бесполое лицо никак не подразумевает, опять же, никаких различий. Это лицо, а чье оно – не ясно.

Изобретатель флагов рыхло рассмеялся, точно расколдовывая свое мудреное название.

– Фома, что вы думаете по этому поводу? – вставил Григорий Владимирович.

– Я думаю, что в любом случае не человек мера всех вещей, а его желание.

– Вы еще чего доброго скажете нам сейчас, что счастливы? – спросил изобретатель флагов, снова засекаясь всем своим видом.

– Конечно, и счастье мое заключается единственно в моем хотении. Чем большего я желаю, тем я счастливее и тем больше времени, пространства вмещаю в себя при этом. Ведь и время и пространство – это побочные продукты наших желаний.

– У вас породистые мысли, это радует, – сказал первый заместитель министра.

– Это настораживает, – парировал космонавт, нервно вздернув опаленную бровь.

– Разумеется, и то и другое, ведь я язычник. Все монотеистические религии современности непременно сходятся в одном: в обуздании желаний верующих, в подчинении их абсолюту. А мое древнее первоприродное язычество, напротив, предписывает распалать свои желания, тем их совершенствуя. Таким образом, из желаний я создаю систему ценностей, возводимую в культ, и в результате имею желаемое счастье, ничем не ограниченное. Счастья нет в повиновении – оно в необузданности, которая и рождает породу.

– Вы формулируете как основатель новой философской доктрины.

– Да, с той лишь разницей, что я адепт старого, как мир, арийского мировоззрения. Потому что философ, не нашедший дороги к счастью, – самый опасный вредитель рода людского. Философия – это не средство объявления действительности, это средство наступления на нее. Если же философия уводит в сторону от счастья, она вредна. Основное преимущество язычества – это его универсальная здоровая простота.

– Прекрасно, я не жалею, что заключил с вами контракт, – заявил Григорий Владимирович, хлопнув в ладони, как тренер легко выигравшей команды, и встал с кресла. Все поддались долгожданному движению. Кто направился мыться, кто вновь устремился в парную, а я ухватил за руку изобретателя флагов.

– Скажите, пожалуйста, как понять ваше занятие? Живодер, космонавт, заместитель министра – это понятно, но ваше?..

– Ну, положим, живодер не настоящий, он всего лишь разделявает туши животных на бойне. Космонавт тоже уже бывший, потому что в таком виде ему на высоту более одного метра над поверхностью мирового океана лучше не подниматься из соображений сохранения престижа нашей космонавтики. А вот мы с Григорием Владимировичем настоящие, это верно, – сказал изобретатель, ласково-ехидно улыбаясь старческим лицом и демонстрируя зубы, сильно стертые друг о

друга в неистовом многолетнем полемическом задоре. Неровные островки возрастной пигментации, рассыпанные по его телу, нехотя расстающемуся с жизненными соками, очень шли к его занятию.

– И все же? – не унимался я.

Он не без кокетства отложил пластмассовый тазик, державший на бедре, будто состарившаяся натурщица, и, вертя веретенообразные пальцы, принялся объяснять мне, как нечто само собой разумеющееся и крайне утомительное для повторений:

– Флаги, гербы и прочую государственную символику для всех стран мира изготавливает моя фирма. Причем занимается этим довольно давно, и...

– Не может быть. Это чушь какая-то!!!

– Молодой человек, прежде чем ерепениться и дерзить старшим, лучше возьмите по очереди флаги и гербы всех государств мира и сами убедитесь в том, что они сделаны рукой одного и того же мастера и несут на себе характерные признаки одной фирмы. Клеймо, так сказать. Присмотритесь-таки уже своими остренькими смышленными глазами, и все увидите сами. А потом уже начинайте спорить. Да, ну ладно, простите старика. Я, как вы, молодые, долго париться не могу, пойду мыться, а то мне опять срочную работу подбросили. Опять где-то революция произошла. Одна радость – страна захудалая, можно из-за нее и не убиваться. Отправлю им наш стандартный комплект заготовок, а там всякие цветочки, ленточки да веточки в народном вкусе они уж как-нибудь сами дорисуют. Верно? Вот и я так думаю. Ну ладно, – и он ушел на своих сморщенных, козлиных ножках, по-старчески напевая под нос какую-то бравурную несурезицу.

– На цветном телевизоре, оказывается, и чернота чернее выглядит, чем на черно-белом. Вот ведь интерес в чем, а? – громко сказал космонавт, обращаясь к самому себе, будучи увлечен беснующимся космическим варьете на огромном экране телевизора, и, кажется, совершенно перестал икать от снизошедшего озарения.

Уже на улице после бани с ошпаривающим чувством обворованного я с удовольствием потер края блокнота.

В двух его цветах заключен основной ответ на вопрос:

Как победить Утопию?

Сталкиваясь с действительностью, наш разум иной раз дарует потрясающие по бесценности философские обобщения. Так было и сейчас.

Чего хочет мой дух?

Максимального раскрепощения, эмоциональной автономии, этической неуязвимости.

Что мешает мне?

Извечное патологическое напряжение в области совести, которое замкнуто в своей сущности и не поддается нападкам разума. Человек издавна испытывает напряжение в области совести. Но ведь совесть – это чужеродное тело в естественной духовной самости человека. В то время, как весь внутренний микрокосм человека является его личным достижением, следствием его жизненного опыта, борьбы, волнений, надежд, падений, триумфов и озарений, совесть на фоне всего этого – явление сугубо инородное, ибо она продукт чужих рук, в том числе и нечистых. Наша совесть – это не наше изделие, она есть следствие воздействия массовой культуры, идеологии, морали, религии, средств информации.

Единственное назначение совести – угрызаться.

Посему, априорно чужеродная совесть – энергетически вредное образование, безвозмездно поедающее силы и волю человека, его бесценное время жизни. В совести самое ужасное то, что с технической точки зрения она устроена как элементарный черный ящик: имеешь сигнал на входе, сигнал на выходе и совершенно не представляешь, как она функционирует внутри. Просто работает и все, она принуждает. И твоего образования всегда не хватает, чтобы понять, как именно она работает. Пора прекратить это антропоморфное безобразие и сделать открытую операцию на совести. Как человек, обладающий неким вкусом и эстетическим темпераментом, давно мечтаю изобрести дезодорант против всех видов пропаганды: запах от нее всегда исходит просто невыносимый.

Итак, чтобы снять напряжение на границе чужеродной совести и естественных тканей человеческой самости, нужно физически уничтожить все инородное, нечистое и на этом месте создать свою частную собственность – свою новую совесть, свое ленное владение. Совесть есть производная от человека, но никак не наоборот.

<p style="text-align: center;"><b>Моя совесть</b> Частное владение <b>ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН</b></p>
--

Все внутри человека должно принадлежать ему на правах пожизненной частной собственности: вера, воля, судьба, интеллект, совесть, надежда, творчество – все это органически вытекает из сущности человека, и ни одно из этих понятий не способно проникнуть в жизнь до его появления. Инородная совесть неизбежно ведет к бесполезной совестливости, а та рождает неспособность к самостоятельному осознанному действию. Внутренняя свобода от «вины», «греха», «долга» и иных догматов, которыми нас снабжают, даже не поинтересовавшись, идут ли они нам, – это первый шаг к созданию нового совершенного Человека, которого и задумал Бог в мгновения отдыха, душевной щедрости и чистоты помыслов. Верховному Творцу никогда не пришлось бы в голову тратить время и силы на создание пассивного трусливого кролика. Бог творил героя, а герои не бывают ни отрицательными, ни положительными. Они либо есть, либо их нет. Бог творил Человека как помощника, но не как обузу.

Человек – это элементарное приспособление для достижения сверхчеловеческих целей.

У человека нет другого выхода кроме как быть и непременно быть победителем, ибо это заложено в его сущности. Быть не как все, а быть лучше всех – вот основной физиологический закон Человека.

«Идя по следам Христа, по следам Будды, по следам Кришны, вы не станете Христом, Буддой или Кришной. Вы должны найти свой собственный путь, свою собственную дорогу». [Шри Раджнеш.]

Итак, я, Фома Неверующий, 1 июня 1992 года окончательно разошелся со всеми официально зарегистрированными и запатентованными религиями, ибо перестал их считать для себя приемлемыми, и принялся конструировать свою собственную.

Наши гены вот уже почти два тысячелетия болеют христианскими блажениями и самоуничтожающей говорильней. Хватит! Чувство самостоятельного действия и самостоятельной ответственности за него нужны нам сегодня. Необходимо стерилизовывать изобретателей воздушных замков и сладкоречивых милосердных лунов, ибо их недуги наследственны.

Христос был мучеником, но ведь мученик – это не трезвый человек. Он одурманил свой мозг хмельными истинами страдания, и до сих пор христиане пропагандируют квинтэссенцию этой нетрезвости. Почему между мной и Богом должен стоять страдалец, не трезво думающий и чувствующий полубог? Не хочу! Мучеников и неудачников прочь, ибо их мораль инфекционна. Христиане проповедуют милосердие, но сущность этого милосердия заключается в том, чтобы не замечать потребности здоровых людей, акцентируя внимание на жизни больных. Современный гуманизм сводится к тому, чтобы уродовать здоровых людей и поддерживать жизнь в больных, обескровливая, таким образом, само понятие Человека.

Вся многовековая, так называемая христианская, культура окончательно опоганила смысл понятий «Человек» и «человечный».

В человечности мы ищем оправдание всем нашим слабостям.

«Что поделаешь, я всего лишь человек», – говорим мы, самоуничтожительно разводя руками. Добавляем: «Он человечный, – и у нас перед глазами мгновенно рисуется образ кроткого, терпеливого человека, готового из уважения; часами слушать рассказы о всех наших хворях и неудачах.

Мы так развращены многовековым засильем астенического искусства и христианской моралью, канонизирующей импотентов, уродов и эпилептиков, что всегда оправдываемся перед силой и совершенством Бога, животных и машин за то, что мы всего лишь люди.

Наша человечность не меч, и даже не щит, а всего лишь трусливая эпитимья.

Нам никогда не придет в голову втиснуть в слово «человечный» всю свою неуемную мощь, космическое величие, энергию, размах, необузданность, волю, творчество, смелость.

Из собственного определения мы создали бесподобное орудие ущербных извинений. Поэтому при словах «человечный», «гуманный», «милосердный» у меня начинаются рвотные спазмы. Я ни перед кем не собираюсь извиняться за то, что я Человек: ни перед людьми, ни перед Богом. Я есть Человек и все! Своим могуществом я люблюсь, как совершенным оружием, а собственными слабостями упиваюсь, точно неповторимыми произведениями искусства.

Христос принял грехи за всех людей, и за меня в том числе, но я не просил его об этом. Мне претит иметь своим Богом экзальтированного, социально недетерминированного пророка, оказавшегося гибридом Человека и Бога. Мне не нужно в душе ничего половинчатого. Кроме того, я не нуждаюсь в безработных посредниках между мной и небом.

Будда хочет помочь мне избавиться от желаний, чего никак не хочу я. А что касается Магомета, то я, как и все цивилизованные язычники, достаточно чистоплотен и слежу за своим телом, чтобы обойтись без обрезания. Ну, а обо всех прочих версиях единого Бога мне даже думать лень.

Толпы религиозных фанатиков могут обойтись без меня, ибо мне очень уютно в изысканном и таком комфортабельном Неверии.

Большинство людей Земли верит в Христа, Будду или Магомета только потому, что больше не в кого. Дайте выбор – и люди увидят истинную цену их Богов.

Ни одно убеждение не достойно твоего страдания, Человек. Разучиться страдать, смыть с мира привкус страдания, присущий христианской культуре, – вот сущность новой религии. Всякого рода канонизированные заявления о перенесении греха с одной личности на другую – преступление против человеческой породы в целом. Самая мысль о «первородном грехе» человека – ком грязи, брошенный в его нравственную самостоятельность. По логике христианской ортодоксии, мы рождаемся, будучи уже мечены тавром первородного греха, который совершен не нами и до нас. Приручение к этой догме искажает пластичную психику и делает раз и навсегда закомплексованными и неполноценными. Мы вступаем в жизнь, будучи уже с рождения поставлены в зависимое положение. Что же это за религия, которая начинает работу с душой с ее закабаления?

Человек чист от рождения и не имеет никакого отношения к чужой вине, как не имеет еще и собственной. На каждого человека заведен свой счет, и каков будет баланс к концу жизненного пути, зависит только от него. Христос принял вину за всех людей, и за меня в том числе. Но я не просил его об этом. У меня хватит сил, чтобы самому носить свою вину. Государство так же любит перекаладывать свою вину и свои промахи на плечи подданных. Мы должны раз и навсегда положить конец этой подлой спекулятивной практике. Каждый перед Богом отвечает сам за себя. Если государство, церковь или иной институт власти допустили ошибку, я не намерен страдать из-за нее. Я просто не подчинюсь силой своего свободного решения. Я сам по себе и не намерен страдать из-за чужого недомыслия. Всегда и везде есть конкретный виновник. Всегда и везде есть конкретный герой.

Если вас не устраивает какое-либо учение, ни в коем случае не насилуйте себя изучением его через силу. Отбросьте прочь и подберите то, которое вам больше нравится. Если же нет такового – изобретите свое собственное. Прочь пред-рассудки! Не мы рабы наших учений. Напротив, они наши вечные рабы. И это наше право распоряжаться их жизнью.

Базисные понятия истины, добра и зла я создам себе сам, и мне не нужны посредники и толкователи вроде церкви и святых отцов. Никогда никому не буду целовать руку: я Фома Неверующий. Здесь же, за поворотом последнего предостережения и последнего рабского самоограничения, Вас ждет роскошное удовольствие духовной автономии, размаха, везения, порыва и свободного опыта. Триумф мистерии самодостаточного и завершеного одиночества ждет Вас. Великий от-

дых и озарение, удешевление сил, новое качество ждут Вас после пут массовой государственной морали. Несказанное облегчение скажется сразу же, стоит только взорваться один раз и сделать стремительный бросок в сторону. Сразу же ясно ощутите, что Вы сделали неизмеримо больше. Вам стало нужно больше времени и глубины пространства, чтобы определить себя. Рвитесь дальше: неторопные дороги чисты, Ваш след будет первым на девственном положе времен и обстоятельств. Новая сила будет толкать Вас в спину, а ощущение собственной мощи станет неизменно расти. Не слушайте ханжеских окриков. Можно – если получается! Если Христу, Будде, Магомету позволено было стать Богами, почему бы не потребовать и Вам? Ведь с момента их обожествления утекло изрядно времени, а потребность в новом кумире ощущается всюду. Смелее, счастливец! Там, за изгибами шаблонных установок – свет вечного блаженства.

Уже совсем близко.

Вечное спасение нам обещает не Бог, а та или иная этико-философская доктрина, которая присваивает себе его без остатка. Отнимите Бога у жрецов-посредников, которые вечно стоят на вашем пути к Богу и вечно наживаются на этом. Отмойте Бога от всех религий, возьмите его к себе в душу и поклоняйтесь ему, как вам хочется. Ваши отношения с Богом касаются только Вас и его. Выбросьте Библию, Талмуд, Коран и все подобные книги: они сковывают дух, отравляют его свободное творчество. Отправляйтесь в интересное путешествие на поиски Бога одни, без помощников, и Вы увидите, что очень скоро превзойдете и Христа, и Магомета, и Будду. Неужели все Вы такого низкого мнения о своем Боге, полагая, что он предпочитает кротких послушников с одинаковыми головами остроумным и властным флибустьерам духа?

Религиозный человек слеп, он не способен видеть недостатки того, кому с таким восторгом поклоняется. Христианин не видит изъянов Христа, мусульманин не видит изъянов Магомета, атеист не замечает несовершенства своих земных кумиров, моралист не способен охватить последствий своей морали. Только свободный сильный дух, не стиснутый оковами культа, способен мыслить, верить, провидеть. Любая религия вредна, потому что она призывает верить по определенному канону и не зовет к свободному мышлению. Вы можете сколько угодно совершенствовать свою веру, но до тех пор, пока не вышли за пределы догмата, знайте одно – Вы совершенствуете не свою веру, а чужую религию, которую изобрели властолюбивые хитрецы, чтобы управлять Вами и подчинять себе. Иди прочь, свободный Человек, и верь по своему разумению! Учителей больше нет, ты учитель сам и сам ученик. Средневековый мир пришёл на смену античному, беспощадно истребив его Богов. Точно так же и Новейший мир придет на смену Новому, убив Христа, Будду и Магомета.

Бог умер, да здравствует Бог!!! Нам нельзя стоять на месте. Вперед к смене миров, цивилизаций, религий. Мир бесконечен – это его основное функциональное назначение. Это не кощунственные мысли, это чистые мысли, направленные в будущее. Кощунства боится только тот, кто не хочет двигаться вперед. Если человек не может жить без великой веры, пусть всегда над его головой будет Бог, всесильный и всемогущий, но у каждого свой. Бога ни с кем нельзя делить, это не трапеза. Ортодоксальные монотеисты не поняли этой простой истины, и потому священным войнам нет конца.

Люди, вас обокрали: вам дали от всех одного Бога!

Да расцветет бесконечное вселенское язычество, могучее, многообразное и прекрасное. Пусть каждый в душе своей, в самом чистом месте, создаст собственного Бога и поклоняется ему. Не нужно подражать. Копирование веры убивает Бога в душе. Бог – это великое открытие, и в душе каждого оно происходит по-своему. Изобретайте, смелее! Неповторимость Бога делает его могущественнее, уникальность веры делает ее значительнее.

Да расцветет вселенский сад разных Богов, которым не будет числа!

«Притязания на исключительность – это выражение фанатизма, высокомерия, самообмана, основанного на воле к власти, которое прежде всего проявляется во всех секуляризациях, а также в догматической философии и в так называемых научных мировоззрениях, может быть преодолено именно пониманием того, что Бог явил себя в истории различным образом и что к нему ведет множество путей. Посредством мировой истории Бог как бы предостерегает от притязаний на исключительность. На земле нигде нет ни полной истины, ни настоящего спасения». [Карл Ясперс.]

«Принято говорить, что в язычестве не было веры, но чтобы говорить это с некоторым основанием, надо бы немножко разобраться в том, что подразумевается под верой, а то ведь опять все сводится к фразам». [Серен Кьеркегор.]

«Любой подлинно здравый религиозный опыт может и должен приспособливаться к любым верованиям, придерживаясь которых мы сочли себя интеллектуально обязанными». [Джон Дьюи.]

«Великие религиозные концепции, которые владеют воображением цивилизованного человечества, суть сцены одиночества: Прометей, прикованный к скале, Магомет в пустыне, медитации Будды, одинокий человек на кресте. Глубинам религиозного духа присуще чувствовать себя покинутым даже Богом». [А. А. Уайтхед.]

«Каждый потенциально может стать Богом... Бог – это состояние сознания.

Есть Будда, есть Иисус, есть Мухаммед – такие совсем разные люди и все они правы. Каждый пусть сам по себе совершенен.

Любите Будду, Иисуса, Рамакришну, обогащайтесь их опытом, но им не поддавайтесь». [Шри Раджнеш.]

«У браманов не было ни церквей, ни святых; все это было введено буддистами. А вместо мифологической метафизики с ее неустанным развитием, с этим прекрасным древне-арийским представлением о Боге-человеке, постоянно вновь рождающимся ради спасения мира – выступает мертвая и непогрешимая догма: «Откровения Возвышенного». [Хаустон Стюарт Чемберлен.]

«Трансцендентной истории, основанной на христианской вере в откровение, ведомо сотворение, грехопадение, акт откровения, пророчества, явление сына божьего, спасение и Страшный суд. В качестве вероучения определенной исторической группы людей она остается неприкосновенной. Однако, основой, на которой может произойти объединение всех людей, не может быть откровение, ею должен быть опыт. Откровение – это образ исторически частной веры, опыт же доступен человеку как таковому». [Карл Ясперс.]

«Недостаток оригинальности есть, по-видимому, одно из самых замечательных свойств видений мистиков». [Эдуард Бернетт Тэйлор.]

## § 19

ясно ощущаю теперь на себе дыхание карьеристов из параллельных миров, потому что теперь все эти миры пересекаются во мне. Я посещаю немислимые для заурядного человека заведения, веду причудливо-несуразные разговоры и после долгих месяцев пребывания в загородной лечебнице, где меня истязал сенсорный голод, нынче подвержен влиянию сенсорного несварения. В горле не хватает звуков, чтобы выразить всю палитру ощущений, не покрываемых ни разумом, ни человекосоразмерными чувствами. Вокруг меня будут чертиться люди, иные в тонких линиях, другие в толстых, но все будут фабриковать мои настроения с завидным упорством и ненасытно впитывать мою паранормальную искренность. Я буду читать над скопищами людей содержимое двучветного блокнота, разбрасывая над их головами синие и красные слова, будто хлопья сверхъестественных энергоемких прорицаний, отчего на улицах города возникнут массовые истероидные беспорядки. Проворная стража возникнет передо мной, защищая от безумной толпы, а я, умильно складывая руки в широкие рукава жреческих одежд, буду заморожено следить за событиями, катализатором которых и явился. В сутолочной чехарде времен, обстоятельств, людей, доктрин, демонстраций и просто всплесков обильного психического излучения буду одну за другой терять свои привычки, будто верных друзей. Встречи, диспуты, бриффинги, посещение военной верфи, мастерской по изготовлению фактов, мыловарни. На киностудии возрожденного немого кино мне предложат участие в кино-пробах на немую роль Менелая, а статисты будут метаться у самых моих глаз, точно выскакивая из карманов телохранителей. В добровольном обществе реабилитации суеверий некто, назвавшийся дипломированным исследователем впадин, вдруг толкнув меня в грудь, крикнет: «Да кто ты такой?» – на что я доверительно, кротко взяв его лацкан пиджака, разглядывая пристально-брезгливо, как вредное насекомое, отвечу: «Я – вселенский анархист».

Надобоно понять, что я новый тип человека: я супермен от метафизики.

Сейчас у меня новый этап: я делаю редакторские пометки на полях моей жизни, чтобы легче было ее разобрать когда-нибудь потом. Красные и синие слова будут сыпаться на головы неподготовленных людей. Кажется, именно этого и хотели Григорий Владимирович Балябин и Эдуард Борисович Смысловский, наделившие меня посредством нашей метафизической договоренности столь безнаказанными возможностями. Условия контракта и два этих государственных кукловода совершенно загнали меня в ничем не огражденную область морального помешательства.

Я пролечу на воздушном шаре над площадью со строительными лесами, заключающими в своем чреве титанический монумент, с желанием раздавить их. В самом углу площади увижу усиленно бранившегося человека. Как выяснилось позже, он просто высказывал свои убеждения. Где-то здесь, совсем рядом, на игрушечном ландшафте между конусами и кубами мизерных зданий разгляжу примостившиеся латентные оспины этических консультаций. В динамических медитациях полета на воздушном шаре мир будет чудиться мне месивом разноцветных проводов с вкраплениями драгоценных камней. Город же будет напоминать электронную плату с витиеватым монтажом микросхем, а ручки людей – направления движения электрического тока. Буду держать в руках тома большой государственной энциклопедии, и все траектории вымирающих слов и вещей из нее устремятся в меня, будто в мишень (...)

Я постепенно становлюсь подделкой под человека (...) Шантаж всех органов чувств будет продолжаться.

Бархатная тишина мракобесия (...) Наркотические суеверия, информационный хлам, частые встречи с людьми, еще более частые расставания. Блюда с неусвояемыми названиями, женщины с одинаковыми сменными губами, одетыми поверх лица. Полусогбенные грезы телесного цвета, химически активные сплетни (...)

У меня болит Галлия.

Я живу в стране, похожей на комнату, в которой окна и двери гораздо больше самой комнаты (...)

У меня болит Византия.

Эстетический комбикорм средств массовой культуры, всюду замерзшие глаза, ртутный дождь мертвых соблазнов (...)

У меня болит Финикия.

Во всей inferнальной комбинаторике несоединимого, проступая чистыми водяными знаками несметного блаженства высвечиваются черты Лизиного лица, ее смех, от которого хочется спалить глаза, глядя на солнце, ее обтекаемые грациозные движения, в которых видны движения звезд и планет. А наше сказочное ненарочное знакомство мифологизируется в моем воспаленном мозгу, как одна из версий спасения мира. Ее киноварно-голубые глаза проведут самый пристальный обыск в моей обесточенной душе (...)

У меня болит Нумидия.

Я должен бороться с Балябиным, ведь он не имеет права на Лизу. Это право имею только я, ибо мое неистовое Неверие уже приговорило мне ее в качестве награды. Сказочная принцесса Неверующего царства, ты будешь моей, каких бы вселенских усилий это ни стоило. Во мне обидели не человека, во мне оскорбили животное – а этого я не прощаю никогда.

У меня болит Атлантида...

\* \* \*

Начальнику спец. отдела  
Этической консультации № 2

Докладная записка

Довожу до Вашего сведения, что все указания и распоряжения относительно гражданина Рокотова Фомы, Фомича выполнены. В типографском отделе отпечатаны рекламы на приглашение психологических натурщиков (в количестве 10 экземпляров) и расклеены вокруг его дома. Кроме того, на третьем этаже главного здания Этической консультации № 2 повешена соответствующая доска с обозначением того, что данное учреждение действительно является Научным центром этических исследований; создана и оборудована приемная, а всему персоналу управления даны соответствующие инструкции. Постоянный штат телохранителей Рокотова доведен до шести человек с тем, чтобы максимально исключить контакт с населением, а общее наблюдение, обработку информации и координацию постоянно осуществляет агент, выделенный Вашим особым распоряжением № 67/12.

Несмотря на все специфические сложности задания, как то: полная непредсказуемость поведения Рокотова и большая протяженность расстояний, покрываемых им ежедневно, – никаких срывов до сих пор не было. Рокотов посетил почти все объекты, обусловленные договором, но меняя их последовательность и совершая незапланированные выходы вольного содержания в общественных местах, чем и усложнил контроль до предела. Так, после посещения военной верфи и полета над городом на воздушном шаре, он спровоцировал массовые столкновения населения с правоохранительными органами на религиозной почве. Присвоив имя мифического Фомы Неверующего, он позволяет себе самые экстравагантные выходы в культовых местах и политических учреждениях. Выкрикивает какие-то «красные» и «синие» слова в местах скопления людей, затем дополняет их зловещими путаными комментариями, гневными прорицаниями, декламациями, вычурными песнопениями, вызывающими жестами, карнавальными костюмами и иными несуразными выходками, чем и привлекает внимание толпы. Умело используя сложности ситуации, злободневные темы, артистические данные, экзотическую манеру поведения и общую нервозность населения, Рокотов доводит скопления народа почти до безрассудного буйства, публично обещает вызвать все сверхъестественные силы для уничтожения Утопии. Причем, прямо на улице совершает связанные с этим магические действия, чем снискал уже массу поклонников и, особенно, восторженных поклонниц, к услугам которых незамедлительно прибегает. Огромной популярностью пользуются его выступления перед концертами рок-музыки, на выставках, в ночных кабаре, модных художественных салонах и прочих местах, допускающих фривольное поведение.

Он ведет роскошный, оголтелый, разнузданный образ жизни, пользуясь безнаказанностью, казенными деньгами, и всячески пожинает плоды своей скандальной популярности. Закатывает дорогие гулянки, устраивает ни с чем не сравнимые массовые оргии с мистической языческой подоплекой, якобы прославляя фаллический культ и укрепляя здоровые инстинкты вырождающегося человечества, чем и спасает, по его мнению, весь людской род. Разгул страстей, предводительствуемый Рокотовым, не знает границ и примеров. Его деяния иногда заставляют усомниться в здравом уме.

Лица, причастные к охране и обслуживанию Рокотова, а также, агенты, курирующие его деятельность, выражают твердую уверенность в том, что данный эксперимент проводится в исключительно государственных интересах и не будет продолжаться долго, а последствия его не скажутся отрицательно на состоянии нашего общества.

С готовностью и почтением,

*Ваш Даниил С.*

\* \* \*

В большом просторном кабинете, обыкновенно светлом, оттого что солнце толкалось в его окна большую часть дня, было несколько электронных часов, каждые из которых жили своей независимой электронной жизнью. Этот факт индифферентного сосуществования нескольких систем, которые должны цепляться за время с одинаковой поспешностью и через эталонные промежутки, неожиданно сильно поразил воображение Григория Владимировича, скомкав все рабочее настроение и порвав обычный строй продуктивной мысли. С самого утра он работал много и с удовольствием. Жестко вычленились несколько серьезных соображений, готовых вот-вот лечь в основу нового кодекса общегосударственных законов, но спудный привкус близкого существования этого пресловутого Фомы Неверующего вытолкнул в оперативную память первого заместителя министра комплекс душевных тем, к переживанию которых он не любил возвращаться. Он еще раз обвел сквозным взглядом островки прободения во временной ткани, зачарованно посмотрел, как все часы подряд потянули на себя одну и ту же секунду, точно отнимая ее друг у друга, и...

...вспомнил Лизу.

Жизнь Балябина была бедна эмоциональными оттенками. Он слишком рано возвеличился в собственных глазах умением коротко сворачивать шею обстоятельствам, бестрепетно приручая нужные мысли, людей, слова, вещи и, конечно же, всецело властвуя над своими настроениями. В мозгу быстро проступили умильно добрые и беззащитные лица старых родителей, давно уж умерших и заставивших Гришу продирается наверх с тихим остервенением и сухим скрежетом зубов. А был он единственным и поздним ребенком в семье. Выцветшие от времени изображения стариков мягко толкнули воспоминания и, прощаясь, исчезли в омутах административной души, свободно помещающейся в сильном теле. Григорий Владимирович напрягся, распрямился, сжал ручку, выдавил из себя несколько бойких приказных суждений и сломался вконец (...) Ведь этот набриолиненный юродивый, уточненный паяц, языческий жрец с образованием инженера-системотехника окончательно вывел его из себя, но не в сторону искрометного озлобления, а в направлении неудобного его чину изумления. Он снова вспомнил Лизу, но теперь уже совсем разную: в роскошных нарядах на фоне других людей, купальном костюме и с огромным апельсином в руках, спящую в его постели с красной отлежанной во сне щекой, и как-то еще, уже совсем близко. Но здесь вновь возник этот придурковатый Фома, который вот так запросто, красиво и естественно познакомился на улице с приглянувшейся ему женщиной, на которую Григорий Владимирович истратил столько сил, обуздал столько своей неуклюжей застенчивости и приучил всех, и себя в том числе, относиться к ней как к призу за тяжелую победу. Но все чувства, силы, слова и эмоции, которые она занимала в душе заместителя министра, ему никогда не пришлось бы в голову назвать любовью, ибо сила воли, струящаяся в широкое крутобережное русло его карьеры, производила на него

самого буйно-загадочное впечатление, и потому образ интеллигентной, обаятельной Лизы смывался. Балябин, как и все подлинно напористые люди, не умеющие надеяться на что-то или кого-то еще, не способен был оценить все тонкие изгибы ее настроений, будучи всецело занят пульсированием собственной энергии. Любое его энергичное озарение моментально принимало в собственных глазах помпезно монументальный вид, а в ее глазах – дряблые очертания плебейского гиперболизированного буффонства. Беспристрастный знаток человеческих душ, чего доброго, сказал бы, что они постоянно приглядывались друг к другу, как два биологически несовместимых вида, съехавшиеся из разных концов вселенной. Но вышло так, что вот уже несколько месяцев они жили взаимным увлечением, оказывая друг другу знаки внимания в виде сильных комплиментов и подарков.

Но Балябин твердо знал, зачем он живет, и гигантский мир, окружавший его, был ясен и правилен. Он всегда прекрасно улавливал опытным чутьем ясновидящего-физикалиста, сколько и каких потребно сил устремить в бескрайнюю структуру мироздания, чтобы высечь заветную искру облюбованного успеха. И в этой гиперзадаче тело служило ему могучим инструментом, к которому он относился с тщательным уважением знатока, ибо оно умело безотказно повиноваться. Мысли о вечном и божественном не донимали его по ночам изматывающей бессонницей. Истое дитя неверующей эпохи Балябин жил, не отнимая у Бога много времени, невзирая на свою активную деятельность у самого изголовья крупнейшего из государств истории. Так уж вышло. Просто им обоим, Балябину и Богу, некогда было заниматься друг другом: слишком много кругом было иных кровотокающих дел.

Не было также у Григория Владимировича умения оставаться наедине с природой, ибо назойливые комары со всего леса моментально устремлялись к океанам теплой вкусной крови, а бестолково-трудолюбивые муравьи не давали мять ароматную траву и беззаботно слушать пение птиц. На все эти нехитрые прелести Григорий Владимирович не был падок с детства и презирал их как сущие проявления ранимого романтизма. Он любил атлетические нагрузки на тело, добрую баню, остро отточенный прыжок в холодную воду, горячую пищу, рокот своего командного голоса. Самый образ мира был для него острием. Не важно чего, но острием. А все, что было пробиваемо и разрываемо им, представлялось скучным недоразумением, не достойным внимания сановного мужа. К вольным художникам, вообще к людям настроения он относился будто к существам пониженного хромосомного набора, и тогда раскатам камнедробительного смеха не было пределов. В детстве, еще при живых родителях, он собирал марки и даже какие-то значки, но со временем все остатки досуга убралось прочь. Максимальный коэффициент полезного действия по генеральным направлениям деятельности окупит все и вся. В школе он не мог выбраться из состояния постоянных удовлетворительных оценок по истории, ибо самый привкус «перебирания сплошных чужих ошибок, заблуждений, недомыслий, безволий» прямо-таки бесил его, и он как-то раз выпалил школьному учителю, что всей мировой истории он противопоставляет свою собственную... Его жестоко осмеяли всем классом, и потому после выпуска он никогда ни с кем не виделся, считая сентиментальность дурным тоном.

Но, как и в каждом человеке, мизерный поначалу плацдарм необъяснимого пристрастия к метафизике рос вместе с ним. Вторгаясь в судьбы таким корсаром, Балябин чутко улавливал самый звук сопротивления. Он изучал каждого, кому случалось столкнуться с ним, и мысленно заносил в типологический ряд, составляя объемную, жестко структурированную галерею человеческих характеров. Это был интерес собирателя реакций на него самого со стороны, и это хобби отлично помогало ему в работе. Смотря на человека, он уже мысленно перебирал картотеку, выискивая аналог и монтируя модель поведения с ним. Почему человек поступил дурнее, чем предписывает ему его выносливая порода? Зачем он так легко сдался? Почему не ищет радости и счастья? К чему культивирует свои нелепые дурные привычки? Зачем хочет выглядеть хуже, чем он есть на самом деле? Все эти вопросы возникали в его мозгу с радикальной назидательностью анкеты. Так что склонность к обобщениям, присущая человеку его положения, и нежелание иметь дело с пассивной ординарностью вывели его наконец к собиранию материала, связанного с...

шутовством и юродством. Балябин пленился этими феноменами настолько, что даже изменил своему отвращению к истории и, поняв в один миг, что история человечества – это всего лишь история шутовства, засучив рукава, изъяснил столько воли и чутья в изучении специальных источников, что и он сам, и ближайшее его окружение испытали нечто наподобие верноподданнического благоговения.

Григорий Владимирович внимательно еще раз прочел докладную записку, сравнил ее с предыдущими, хрустнул костяшками пальцев, поморщился, глядя на экран компьютера, и вложил листки с доносами в папку с надписью:

## § 20

### ЭКСПЕРИМЕНТ Рокотов Фома

дополнив ею целый ряд одинаковых синих пластиковых папок с фамилиями разных людей, на которых секретное управление вознамерилось объезжать издержки здешнего мироустройства. Просто их отдали на съедение «объективным законам развития общества». Их решили использовать как подопытных кроликов для приручения и умирения диковинной болезни – идеологической цивилизации. Фома Рокотов был первым в этой плеяде заложников будущего. Дешевые смерды, утомляющие наступление главных сил противника своими незащищенными костями, были нужны во все века и всем режимам без исключения. И мысль эта не показалась заместителю министра коштунственной, потому что он был всего навсего неофитом истории. Озорной кураж обобщений еще бередил его мозг, сообщая значимость и величавую грациозность всем телодвижениям. Но и здесь не так все было просто, ибо Рокотов возбуждал нечто наподобие этнографического интереса, и в цепких административных глазах сбивчивой вереницей промчались портреты шутов. Множество биографий, изображений, упоминаний и даже вещественных клочков жизни этих необычных людей собралось в коллекции молодого законодателя... но не было еще в ней живого шута... своего собственного!

Сильной жилистой рукой Григорий Владимирович ослабил змеино-чешуйчатый черный галстук, расстегнул верхнюю пуговицу на мягкой свежей сорочке, что было проявлением нечастой вольности даже наедине с самим собой, поправил



волосы на висках, давя островки ровного пульса, и, резко мотнув головой, вновь потонул в латентных рассуждениях, которых не мог переносить длительное время. Он прошел мимо окна, хлопнув по подоконнику, и недоуменно воззрился на свое блеклое отражение на стекле.

Он говорил с самим собой на языке, в котором нет ни правил, ни исключений, потому что этот язык предназначен только для внутреннего пользования. Слова в нем одеваются образами обозначаемых вещей, понятий и интонаций. Расщепляются на куски. Крутятся в задорном хмельном хороводе шарад, собираются в немислимые и неподъемные образования. Вновь разоблачаются до жесткой последовательности букв. Скачут и мерно дефилируют, словно акробаты и манекенщицы, демонстрирующие удаль и щеголеватое одеяние. Сложнейшая аналого-цифровая работа чувств и ума вылепила цепь сомнений и осторожных предположений...

(...) интерес (...) сострадание, временами даже уважение к шуту-индивидуалу. Ведь не похож на слабоумного. Откуда столько убежденной прыти, такая сложная система мировосприятия и такой необычный для наших дней имидж? Хотя он, в сущности, совершенно современный человек. Модный взбалмошный инженер. Бунтарь-одиночка, будто Эмпедокл, во имя идеи бросившийся в огнедышащее жерло вулкана.

Он личность (...) Характер, и еще какой. Язычник. Воюет со всем миром: с Богом, людьми, историей. Хочет уничтожить Утопию. Значит, знает, как она выглядит. Вот бы и самому знать. Неверие. Фома Неверующий. Языку делается неудобно, не то что мыслям. Фантастика (...) Его речи на людях. Эта жажда наслаждений. Его необузданное, даже какое-то почти религиозное опьянение жизнью. Глумление надо всем. Кошунство. Ведьма эта еще тут. Фантастика! Война против Утопии... Здесь. Сейчас. В этом страшном низком одномерном мире, поглощенном борьбой за сиюминутное выживание. В каждой нелепой выходке – рассуждения о вечности, космосе, Боге. Масштаб души и никчемное безрассудство. Синие и красные слова. Какой-то свой причудливый космос, который непонятно как занесло к нам (...) И все-таки не верю. Неверю его не верю.

Потрясен, а не верю. Не верю, нет, не верю. Круг. Круг какой-то. Чушь (...)

(...) она кольнула исподволь, ненарочно. Это даже не мысль была, а именно интонация. Ведь есть же что-то у него в гороскопе, связанное с авантюризмом...

(...) примерить, попробовать (...)

Смысловский, этот самый Каноник, ведь рекламировал же свои приборы в лабораториях, свои чудеса, и это безумное детище, этот эгоанализатор. Снять матрицу с Фомы Неверующего с помощью эгоанализатора. Сделать из человека матрицу и испытать на себе эффект его Неверия. Психотехника уже позволяет испытывать все, что угодно, а вот эгоанализатор еще не испытывали на людях. Снять с Рокотова все данные на самом высоком уровне, превратить их в цифры, а те записать на дискетку – и не нужен никакой психологический натурщик со всеми его выкрутасами да капризами. Не лживый, скрытный человек со своей фанаберией, снобизмом и богоискательством, а голая правдивая матрица из взаимосвязанных цифр. Кошунство – одна цифра. Неверие – другая. Слова – и синие и красные – третья. И бунтарство, и знакомства с девочками, и ведьма, и алхимия – все в цифры обратить, и все сразу ясно будет. Вот ведь арифметика чудесная какая выходит! А к матрице бесовскую эту социальную экстраполяцию применить, и все общество в цифры превратить! Историю – весь этот кошмар, глупость, трусость, подлость людскую – все в цифры. А цифрами-то управлять как легко. Как легко! На места расставить и понять до конца. Блеск! Только на себе проверить это Неверие. На десерт. Позабавиться, поиграть, прочувствовать, вдохнуть, а потом все по местам – раз и навсегда!

– Блеск! – крикнул Балябин и от избытка энергии, высвобожденной хитрым озарением, коротким хорошо поставленным ударом проломил клавиатуру компьютера, так что тот заметался цифрами по экрану монитора и покорно замер, разметав никчемные надписи. А огромный заместитель министра, раздувая ноздри, жилы и мускулы, сжал в руке манипулятор типа «мышь», посмотрел на него, как на атрибут вражьего культа, и с неизреченным удовольствием раздавил так, что все три клавиши издали жалобный звук.

– Цифры окаянные, вот вы где у меня! – гаркнул Балябин на остатки манипулятора в руке, теряя брызги слюны и озарение. Это был триумф Геракла, все другие ощущения померкли в огнедышащем мозгу. Лопающиеся от рокота пульса виски заменили овацию... Благодарное человечество смотрит на Григория Владимировича Балябина с преданным, восхищенным замираньем сердца. Он сотворил то, чего не смог сделать Христос. Это подвиг во имя человечества (...) Освобождение от всех трагических нелепостей человеческой природы. Разом, без жертв и навсегда. Значит, есть все-таки Утопия? Борец Неверующий, а? Есть, значит. На тебе, на твоём Неверии, на твоей борьбе с Утопией Утопию мы и построим. Из яда – лекарство. Так было, так есть. Всегда, везде (...)

Мудрость природы, правильность мироздания всей своей величавой массой сводов вновь покорили воображение Балябина. Он снова проникся бездонным оптимизмом вселенских размеров, почти не смея дышать. Он не понимал Бога и потому не благодарил его. Все благодарности достались некоему структурированному абсолюту, дальше в атеистическом мозгу не было ничего.

Эдуард Борисович Смысловский, Каноник, застал своего шефа за изуродованным компьютером, еще разьедаемым страстями, и немало удивился этому обстоятельству, как, впрочем, и его общему взъерошенному, отнюдь не министерскому виду. Толстый мякинообразный человек этот имел обыкновение не входить, не вламываться, не вбегать в кабинет начальника, а именно проникать внутрь, и все остальные определения, мысленно перепробованные первым заместителем министра, никуда не годились. Так и теперь, сдержанно поздоровавшись и повертев головой по сторонам, точно собирая в букет взгляды свидетелей, Эдуард Борисович коротко и безэмоционально сказал свое регулярное: «Вызывали», – так, что все вместе композиционно вышло и не утвердительно, и не заискивающе, а как-то по-деловому.

– Да-да, Эдуард Борисович, прошу садиться, я тут несколько забылся в пылу фантазий и неловко оперся на клавиатуру. Результат, сами видите, плачевный. Пить что-нибудь будете?

– Вермут, если можно, но только за компанию.

– Извольте, льда вот только нет.

Смысловский моментально усвоил мелкие извиняющиеся интонации шефа и, доверительно-осторожно окружив их своими гладкими фразами, придал всему самый уверенный вид.

– Так вот, Эдуард Борисович, вы давеча изволили похвалиться своим эгоанализатором?

– Да, было дело. Впрочем, и не только им. Как я вам уже докладывал, наши лаборатории вышли на совершенно новый качественный уровень, – ответил Каноник, не преминув благодарительно кивнуть головой, когда получил стакан ровно на треть наполненный золотисто-ароматным вермутом.

– Вы говорили, что первые опыты прошли удачно и, сняв все измерения с человека, можно превратить взаимоувязанные цифры обыкновенной математической матрицы и записать все это хозяйство самым компактным способом на обыкновенную трехдюймовую дискету повышенной плотности.

– Именно так.

– Кроме того, вы говорили, что этот цифровой слепок с человеческой природы можно затем опять превратить в аналоговые величины человеческих свойств и посредством разнообразной аппаратуры запустить на новом базовом объекте, то есть человеке, и, таким образом, ум, чувства, судьбу, наследственность одного человека включить другому человеку.

– Точно так.

– Отменно, и вы говорили также, что никакого вреда матрица первого человека не может причинить второму. То есть, второй испытает жизнь первого просто как видение и вновь затем превратится в самого себя как ни в чем не бывало?

– Да, да.

– Изумительно! Тогда нужно уговорить Рокотова снять с него матрицу, которую я затем испытаю на себе. Вот так, ваше здоровье, – и, грациозно подняв стакан в честь сослуживца, Григорий Владимирович с видимым удовольствием пригубил вермут, проигрывая вкус напитка всем умиротворенным существом, будто матрицу с ощущениями другого человека.

Затейливо дипломатичный Эдуард Борисович смотрел на механически шевелящийся кадык шефа, почти жмурясь от мистического ужаса, охватившего его. Он опасался в уме ли начальник. Тайное пристрастие Балябина к шутловству было ведомо ему, как и то, что оно касалась непосредственно тематики их деятельности. Но не до такой же степени!

– Врачи ведь пробуют на себе болезни, с которыми они борются, чтобы точнее прочувствовать все симптомы. Вот и я сейчас, Эдуард Борисович, вышел на определенный рубеж, когда всех этих тривиальных доносов, собеседований, отчетов, синих, красных слов и прочей ерунды просто недостаточно. Этот Рокотов не идет у меня из головы. Совершенно. И не идет по той простой причине, что все это необычное юродство, весь этот неуемный эпатаж лежат на поверхности. А внутри этого человека, которого нужно рассматривать как новый архетип компьютерной постидеологической цивилизации, кроется новый защитный инстинкт, выработанный в самых недрах жизни. Его неверие – это чудовищной силы иммунитет, а неприятие действительности носит ярко выраженный наступательный характер. И это намного интереснее для наших исследований, чем какая-то вялая астеническая пассивность. Активный нигилизм способен не только разрушать, но и созидать, и вот именно эту тайну необходимо выкрасть у Рокотова. А чтобы выкрасть, нужно просто прожить его Неверие. Нам с вами неслыханно повезло: можно изучить сопротивляемость человека в новейших условиях и смоделировать изменения, которые ждут биологический тип Человека в ближайшем технократическом будущем. Миллион лет назад человек был невосприимчив к холоду, голоду, зною, нечистотам, нечувствителен к качеству пищи, легко и охотно вступал в единоборство с дикими тварями. Но душа его была совершенно неразвита и девственно чиста. Нынче же индустриальное, информативное общество, тотальная идеология, массовая культура поменяли все местами. Тело человека всемерно изнежилось, а все несовершенства первобытного мира спроецировались на человеческую душу, сделав ее нечувствительной к смене кумиров, доктрин, иллюзий, к войнам и т. д. Рокотов вовсе не шут. Он напрасно напускает на себя эти манерные позы, оригинальничает, он всего лишь НОМО POLITICUS. Нужно вырвать у него тайну его Неверия как ядовитое жало, ибо от этого зависит успех всей нашей глобальной программы, – уверенно сказал Григорий Владимирович, по кличке Невыбываемый, которому уже явно нравилась роль первооткрывателя. Он выключил наконец изуродованный компьютер, оставил пустой стакан и, засунув руки в карманы широких клетчатых брюк, сгруппировал тело, с любопытством ожидая реакции на сказанное. В это мгновение он был предельно похож на цельно вырезанную из кости фигуру угрюмого первобытного идола.

Все это произвело на Эдуарда Борисовича гнетущее озлобленное впечатление. Мысли его были где-то далеко и им там была неудобно. Кроме того, в такую жуткую жару ему продуло спину. Одно он зная наверняка: добром эта затея не кончится: Смысловский по всей своей программе надеялся отчитаться килограммами бумаг и никакие натурные испытания, а тем более с участием руководства, не входили в его планы. Тупая ярость, гипертрофированная бесполым чиновным страхом, увеличилась в объеме и двинулась вверх, но там была массивная фигура начальника. Тогда все это настырное безобразие обратилось вниз к Фоме Рокотову – высокоплачиваемому привилегированному шуту на государственной службе. Эдуард Борисович за долгие годы беспорочной кропотливой работы не имел в своем распоряжении такого количества денег, какие сей нафабранный элегантный разгильдяй спускал на дороге вина, яства, женщин и грациозно, притом, получал плечами, точно не понимая, что кругом происходит. Компактно собранная зависть Смысловского разметалась по всему его существу, испортив впечатление о всей дисциплинированно прожитой жизни. Некрасивое надутое лицо будто покрылось новыми складками жира и зримыми проявлениями какой-то общей ублюдочной неполноценности.

– Да, конечно, все будет исполнено, – отрешенно вымолвил варанообразный референт, подбирая живот в знак согласия.

– Только умоляю вас, аккуратнее... Э-э, не поймите меня превратно, я не собираюсь учить вас. Но, однако, опасуюсь, что даже у молодого государственного юродивого, защищенного дюжиной пунктов приложения к договору, может не хватить силы воли и воображения позволить снять с себя матрицу. Не попортите мне Фому Неверующего, это ведь специальный человек.

Агрессивному веселью Григория Владимировича не было пределов, он блистал и искрился, как увесистый ковш в холостяцком хозяйстве, истертый о пенную поверхность доброго вина.

\* \* \*

Наконец я проснулся, и после вчерашнего веселья тело мое находилось дальше всех моих помыслов. Просто ужасное похмелье. Я весь был в чем-то липком, а на подушке под головой лежало несколько измятых засаленных павлиньих перьев, которые даже моему мучительно-приторному сну придали колкую неудобность. На широкой кровати, по которой, кажется, прошло целое отступающее войско, лежали две растрепанные обнаженные девицы с цветными татуировками на красивых телах. Я начал соображать и вспомнил, наконец, как одну из них подали мне на гигантском блюде черного фарфора, обложенную экзотическими фруктами. Вторая же была сделана наподобие торта, и ее подали с какими-то пиротехническими и световыми эффектами, отчего привкус бенгальских огней и стробоскопа еще звучал во мне. Все остальные гости убралась прочь, оставив в комнате эскадру разбросанных бутылок, груды надкушенных фруктов, элементы женского белья и иные яркие следы ночного гульбища. Я аккуратно снял с себя татуированную руку с черными длинными ногтями, отодвинул спящее лицо с черной губной помадой и бордовыми тенями. Убедившись в том, что из увеселения выбрался целиком, попробовал встать с ложа, но голова моя тотчас же вздумала бежать прочь, словно отрубленная. Мои движения раненого альпиниста и нежданный стук в дверь разбудили девушек, оказавшихся весьма симпатичными и совсем не вульгарными. Пожелав доброго утра спутницам по удовольствиям и облачившись в длинный черный фессалийский халат с капюшоном и алой inferнальной подкладкой, я предложил войти нежданному визитеру. Мне было так отвратно, что даже безразлично, сколько сейчас времени. Я силится попасть левой ногой в персидский тапок, словно саблей в ножны после дня непрерывной сечи, и, отчаявшись вконец, крикнул: «Ну, кто там? Входите!» Дверь открылась, и, будто на гребне новой волны гадкого похмельного привкуса, в комнате нарисовался Эдуард Борисович Смысловский в полном комплекте: живот, бронзовая лоснящаяся лысина, вараны ужимки.

– Не побеспокоил? – спросил он, накатившись, на меня дурнотным запахом одеколона и гадливо пробежав маслянистыми глазками по обнаженным телам девиц, которые безо всякого смущения только подавали первые признаки жизни.

– Да чего уж там, новым силам будем только рады, – бравировал я, не подавая руки, и развеселился окончательно, попав скрюченной ногой в тапок, измазанный раздавленным бананом и губной помадой.

Мы встали боком к медленно позевывающим девушкам, делая вид, что их нет вовсе, и, все это время Эдуард Борисович умудрялся, говоря всякую несуразицу, ни разу не раздражить меня. Погода, политика, секс, оккультные сплетни, пошлина на ввозимые парфяньские оптические приборы и, наконец, что-то о моем контракте...

– А что мой контракт? Я выполнил не все причуды августейшего предписания? – спрашиваю я, ущипнув девушек, поцеловавших меня на прощание в обе щеки одним симметричным поцелуем.

– Э, я плохо запомнил нюансы. Придется все повторить снова! – кричал я уже в коридор, заглушая стеклянно-звонкие раскаты игривого смеха прелестниц. Они вяло шли по коридору, неся одежду в руках и переливаясь на свету всеми цветами татуировок.

– Да, видите ли, дело в том, уважаемый Фома Фомич, что шеф недоволен...

– И чем же недоволен наш шеф? – передразнил я, фыркая на последней букве.

– Недостаток общей правдоподобности эксперимента и вашей искренности его весьма огорчают.

– Ну, знаете, как могу.

– Вот то-то и плохо, что можете, а не хотите. Ведь ваша искренность не наша пустая блажь, а условие контракта, и вы знаете, что от этого зависит вся подлинность и ценность опыта.

– Что же прикажете делать? И впрямь, вести себя, как запатентованный муниципальный юродивый? – заинтересовался я, всерьез обеспокоенный перспективой потери всех дорогостоящих привилегий. Вино, яства, развлечения, эффектные женщины, мой длинный и ничем не стесненный язык, легчайшая прозрачная ткань эгоизма, энергия, порыв, крылья за спиной, весь мир словно крикливый изысканный жест – все эти микроскопические эталонные образы, уже уютно затвердевшие в моем свободном мозгу, резкой петлей стянули горло. Дюжина пульсов разной частоты кольнула виски, разрывая нестройную цепь хмельных воспоминаний. Я громко чихнул, так что все страхи и надежды провалились разом и в голове появилась приятная ватность. Эдуард Борисович вдруг беззлобно забалагурил, хлопая меня по плечу и открывая свои липкие объятия, точно танцует неведомый неземной танец. И эдак и так. Все беззлобно, и вата, вата кругом.

– Да делать-то что? – выкрикнул я вверх, усиленно выбираясь из неподвижного хоровода, которым окружил меня этот совсем незагадочный человек.

– Так вы же у нас технику любите, все новое. Вот и окажите любезность, согласитесь на один небольшой анализ, и вам больше не придется юродствовать и выбиваться из сил. Я же вижу, как вам трудно быть паяцем. Согласитесь и все. Новый чудный прибор мы уже испробовали, и называется он всего-навсего эгоанализатор. Включим его, погрузим вас в особое поле и снимем слепок с психики. Превратим все в цифры, обрабатываем на компьютере, сделаем компактную матрицу, запишем ее на дискету. И теперь, вместо того, чтобы вас каждый раз неискренностью попрекать, будем дискетку в компьютер вставлять. И все нам сразу станет ясно: и реакции ваши, и все прочее, прочее...

В этой крошечной поволоке двоящихся и повторяющихся слов, будто в вязком психоделическом тумане, я как-то сразу влет поймал суть и, глупо ухмыльнувшись, спросил:

– Снять с меня, Фомы Неверующего, матрицу на эгоанализаторе? С Неверия моего матрицу снять? Да это, что же,

## § 21

психотехническая дефлорация?

Меня контузило и разорвало олимпийским смехом. На полу, между надкушенных фруктов, бутылей, чулок, я метался, словно огромная беспризорная капля.

– Я – матрица, дичь какая-то! Я – матрица, несколько столбиков, цифр и все. Эй, Каноник, давай, давай в матрицу меня превращай, только скорее! Слышишь, хочу быть матрицей!

Почувствовав, что получил боевую психическую травму, вскочил с пола, вытер свои совершенно невкусные слезы и хладнорассудочно подытожил:

– Гуманистов бы сейчас сюда, чтобы послушали нас. Вот уж голову сломали бы. Ну, ладно, значит так: я согласен. Матрица так матрица. Вы вот что мне поясните, уважаемый Эдуард Борисович. Это что же, меня, значит, размножить будет можно бесчисленное количество раз с этой матрицы? Так получается?

Эдуард Борисович потешным движением, передернул все лицевые мускулы, как передергивают затвор скорострельного автомата, и, с трудом засунув жирные красные руки в карманы брюк, крайне дружелюбно ответил, словно опасаясь поранить меня хотя бы одной неуместной интонацией:

– Видите ли, Фома Фомич, каждый человек, несомненно, индивидуален. Но индивидуальность его универсальна.

– Поясните.

– Поясняю. Если вам вдруг случится умирать, то в последний миг вы испустите в космос мощнейший пучок психического излучения, в котором отразится все человечество со всей его нелепой историей, со всеми его неряшливыми чаяниями и аляповатыми фантазиями. В этом психическом всплеске будет все: от послеобеденных настроений Платона до бешеных ночных грез Гитлера. Это не рабочая гипотеза, это уже доказано наукой.

– Вашей придворной наукой? – спрашиваю, отрывая волосы на груди.

– И ею тоже. Готовьтесь, и будет лучше, если вы будете не напряжены, иначе характерные напряжения внесут неточности в измерения и передадутся цифрам.

– И цифрам тоже.

– Конечно, пожалейте их, – мнет он лицо в слащавых гримасах.

Смысловский исчез так же неожиданно, как и появился, уничтожив при этом во мне всякое понимание. Перед глазами вновь выступили остатки приключений, будто обломки кораблекрушения, выброшенные из благопристойного времяпрепровождения ночным вакхическим разгулом, и обессиленность моя сказала самым явственным образом (...)

Тут в голове моей появилось постороннее энергетическое включение, будто бы кто-то присутствовал в самых тайных моих помыслах, и не успел я обернуться, как в открытую дверь раздался легкий стук. Воображение в который раз обожгло мне глаза и губы, а затем метнулось прочь (...)

Передо мною стояла вечно улыбающаяся Лиза, начиненная канонической вневременной женственностью, а лицо ее было свежее свежего.

– Можно? – спросила она одновременно всеми тонами своего мягкого голоса и наклонила голову.

– Вам, помилуйте, хоть в сокровенные тайники моей души, – ответил я, отвесив нижайший поклон, махая длинными полами халата, точно отбиваясь от низко летящих москитов.

Она снова чародейственно улыбнулась мне, равно как и всем моим выходкам, и задала прелестный вопрос, который меня, однако же, нисколько не обрадовал:

– Все беспутствуете?

– Отнюдь, совершенную философию тела, ибо философия духа усовершенствована уже до его полного износа. Я Вахх компьютерной эпохи.

Вот уже несколько дней я был знаком с нею как с официальной любовницей моего шефа и столько же дней кряду хотел отрубить руку Балябина всякий раз, когда он хватался ею за тонкую Лизину талию. Сколько раз без свидетелей я пытался заговорить с нею на «ты» и ничего не выходило, а она все так же улыбалась этой моей всамделишной досаде, как бы сочувствуя.

– И что подсказывает ваша философия, неоязычник? – спрашивает она, картинно подбоченясь.

– Она подсказывает, восхитительнейшая, что высокой горе вовсе не нужно постоянно производить на меня впечатление вершины и тем подтверждать статус заоблачной недоступной выси. Горе достаточно попасться один раз на глаза, и она навсегда останется высочайшей в моей памяти.

– Это свежая мысль, но назначение горы мне видится в том, чтобы быть вершиной на самом деде, а не производить впечатление таковой, даже на таких благовоспитанных созерцателей, как вы.

– Ответ, достойный вершины, но он не оставляет мне шансов.

– Шанс есть всегда.

– Уже ли?

– Будьте оптимистом, язычник, – произнесла Лиза, махнув разноцветными юбками, и исчезла в недрах коридора, увешанного изображениями придворных шутов.

Надо мной промчался ядовитый дождь.

После сенсорного голода у меня было сенсорное несварение. Моя память – это вредный полип, вредный своей чрезмерностью, ибо помнить все в таких деталях над гнетом постоянных домоганий фантазии – сущий ад для меня (...)

Аскетизм – это не мораль, это диагноз. Как только перестаешь быть способным к чему-то, сразу же начинаешь уверять всех, и себя в том числе, что ты выше этого. Выше удовольствий, ощущений, страстей, выше оргазмного шпиля жиз-

ни. Все динамичное, здоровое, подлинно ренессансное проклинается как низменное. Мудрые греки говорили: «Если у тебя есть скопец – убей его, если нет – купи и убей». Твоя мораль говорит о том, к чему ты уже не способен. Философия силы существовала всегда и всегда существовать будет. Задача философии в целом заключается в том, чтобы не отрицать мораль сильных и бороться с ней, а в том, чтобы всячески поощрять, таким образом, цивилизуя ее. Если жизнь не может обойтись без силы, пусть ее будет вдоволь, но это будет не слепая, а просвещенная сила. Все, что существует под солнцем, полезно. Нужно только уметь использовать это с максимальной отдачей и успехом для себя и окружающих. И милосердие, и силу, и любовь, и страсть, и слабость, и черствость – бери все и пользуйся по своему разумению. Учителя и советчики проповедуют совершенство, к которому не способны уже сами, и обговаривают от пороков, в которых заковались, единственно из соображений конкуренции, ибо и в грехах, и в добродетелях все места давно уже заняты.

Гедонизм – это тоже диагноз. Диагноз остроты восприятия, без которой жизнь – просто величаявая глупость.

«Воинствующее безбожие есть расплата за рабы мысли о Боге, за приспособление исторического христианства к господствующим силам». [Николай Бердяев.]

«Почти все, к чему стремятся люди, совершается во имя свободы. Во имя свободы они становятся даже на путь рабства. Возможность силою свободного решения отказаться от свободы представляется иным высшей свободой». [Карл Ясперс.]

«Лишь низменные натуры забывают себя самих и становятся чем-то новым. Более глубокие натуры никогда не забывают, какими они были, и никогда не становятся иными, чем были... Лишь низменные натуры руководятся в своих поступках чем-то находящимся вне их самих». [Серен Кьеркегор.]

«Я принял существование и самого себя и ни в коей мере не склонен себя менять». [Шри Раджнеш.]

«Если бы на свете был Бог, неужели я удержался бы, чтобы не стать им?». [Фридрих Ницше.]

Новые материки и моря на Земле были открыты изумительно жадными людьми и беспардонными авантюристами. В духовной сфере также не все открытия принадлежат кротким, аскетическим бессребреникам постного академического толка.

Авантюристы мысли, флибустьеры свободного разума были и будут всегда.

Все то время, пока приводил себя в порядок, я с освежающим удовольствием вспоминал, как занимательная чувственная комбинаторика приводила меня к невиданным открытиям, а все существе мое исправно чеканило положенные ощущения, едва я видел Лизу. Она стала для меня идеальным техническим тестом на функционирование. Я всегда был уверен в том, что моногамный человек из меня не получился от рождения. Но вот она, это непрощенное баснословное вкрапление в мою искрометную жизнь, теперь уже устойчиво присутствовала в каждой клеточке моего страстолюбивого тела. И чем больше целовал других женщин, тем ближе становилось Лизино присутствие, от которого я уже не в силах был бежать ни внутрь, ни наружу. С вездесущностью богини преследовала она меня. Ее яркая доверчивая улыбка, такая необычная в нашем изверившемся астеническом мире; восторженно-блестящие голубые глаза; безупречная спортивная фигура; неожиданные экзотические наряды и прически; пластика, женственность, чуткость с грациозными порывами мягкой, но властной энергии. Ее поразительно здоровый цвет лица на фоне всей кошмарной мировой идеологии (...)

...а я шут. Я барский шут, безропотно отрабатывающий шутовскую барщину. Это господская женщина, и она не для меня. Когда я стою рядом с нею, мне кажется, что все в этом мире настужь. А едва она двинется вперед, заливая меня выше краев волнами эфира, как ощущаю, что чувства мои зашкаливают, и весь делаюсь неисправным, перегоревшим. Волны благодати опадают, и я горю пульсирующей злостью, призывая на помощь всех возможных Богов, единственно чтобы стреножить эту грандиозную несправедливость (...)

Моей!

Она должна быть моей, даже если мне придется вконец переиначить себя и свою крапленую судьбу. Все силы мира! И добрые, и злые! Помогите, ведь вы живете во мне, и вам уютно бороться в моей выкорчеванной душе. Если я хоть дорог вам как эксперимент! Помогите мне (...) или в безудержном неистовстве я додумаюсь до таких вещей, что отомщу вам всем (...)

Имя Лиза – красного цвета, самого красного цвета под солнцем, а имя Фома – самого синего цвета.

Все силы мира, помогите мне! Иначе страсть расщепит мой бесстрашный компьютерный мозг до молекулярного уровня.

– Фома Фомич, вы готовы? – спрашивает спянявый голос, доносящийся словно из замочной скважины. За дверью стоит моя мишень – смысловский, как всегда полный своего калечного смысла.

– Да, наидражайший Эдуард Борисович, я максимально изготавился к психотехнической дефлорации, которую вы мне благоволили предложить, – говорю, надменно изучая свой безупречный маникюр и поправляя цветастый галстук, повязанный поверх мертвым уступом стоящего воротничка белой сорочки с объемными жемчужными переливами. Брючный ремень из шкуры какой-то поразительно ядовитой змеи придает упругость всему туловищу, словно камертону в предвкушении звука, а в мозгу сам собою сочиняется некий наступательный марш, и я мысленно обещаю мучения всем алгоритмам вычислений, надумавшим бестолковыми цифрами раскусить мою неуязвимую сущность.

– И любите же вы, Фома Фомич, всякие словесные выкрутасы! – раблезиански ехидничает Каноник, приглаживая лысину.

– Если бы только словесные, я бы у вас не работал.

– Это верно, ух... – и Эдуард Борисович живописно поскользнулся на банановой шкурке.

– Аккуратнее, маэстро, евгенике вы нужны живым.

– Как и вы, – его лицо натянулось в улыбке, словно тетива, готовая что-то метнуть.

На втором этаже особняка в одной из боковых комнат с окнами в сад, примыкающих к коридору, расположился компактный вычислительный комплекс с изрядным количеством периферийных средств, долженствующих отслеживать специфику, всех эгоистических тенденций в психике подопытного (то есть меня). Две слегка изогнутые плоскости из голубовато-желтого металла на пространственно регулируемых подставках отстояли друг от друга на два – два с половиной метра. Эти штуковины создают психогенное поле, в которое меня погружат и в котором, собственно, будут происходить все изменения. Тут для меня не было ничего сверхъестественного. Частота излучения, балансировка измерительного контура, конструкция чувствительных элементов, математическое обеспечение – вот, пожалуй, и все вопросы, которые возникли у меня из праздного дипломированного интереса. Мое эгоцентрическое сознание – это слоеный пирог излучений различной частоты. Желание чувственных удовольствий – это одна частота, желание смысла жизни – другая, стремление к Богу – третья, а мое священное Неверие – совершенно особая, несущая, частота. Мое Неверие субстанциально и обладает высокой потенциальной и кинетической энергией, а моя Неверующая мысль материальна. Мелкие хитроумные частицы, устремляющиеся из меня в открытый космос, несут закодированную детальную информацию о моем Неверии. И сегодня чиновники от науки надумали выкрасть эту тайну у природы и, конечно же, с моей помощью.

– Присядьте на стул между вот этими экранами и расслабьтесь, совершенно расслабьтесь, а еще лучше – ни о чем не думайте, – сказал Эдуард Борисович, копясь глазами в писанине цветного монитора высокого разрешения.

Все понятно: ваш эгоанализатор устроен архипримитивно. Между экранами возникает переменное силовое поле определенной частоты излучения, и, вычитая из этой известной частоты частоту моего неизвестного психогенного излучения, получаете разницу частот, по которой и восстанавливаете базовую несущую частоту всего моего эго. Ну, а потом... потом все в цифры, и готова бездыханная, всегда правдивая матрица моего Неверия. А не беспокоиться и не нервничать вы меня просите потому, что ваша система чрезвычайно неустойчива к действию динамических возмущений. Например, тихая, спокойная, мысль о примитивных чувственных наслаждениях легко изобличается определенной частотой и интенсивностью излучения. А вот если я придам ей лавинообразный процесс нарастания эйфории, например, если мифологизирую чувственные наслаждения до уровня религиозного блага, устрою в мозгу дионисийские игрища и позову, на помощь всех языческих Богов из всех религий мира и одну частоту воображения перебью целым фонтаном частот сказочных радостей – вот тут ваша система и расстроится. А в процессе преобразования в матрицу неучтенные в алгоритмах возмущения станут подобием компьютерного вируса и погубят все ваши вычисления. Вам не видать моего Неверия!

– Ну, как устроились? – спросил Эдуард Борисович с краскою триумфа на лице, – все займет не более пяти минут.

Получите!!!

Я собрал все свое существо в кулак, развернул звезды вселенной так, чтобы они благоволили мне, и выплеснул в психогенное поле измерений резкий импульс энергии всех излучений, чтобы в моем сверхъестественном волеии уместилась все помыслы и желания, до предела взбешенные моим реактивным воображением.

Я прочел энергоемкую языческую молитву с такой силой, что едва не сжег все чувственные волокна в теле, а мурашки, наверное, целыми стаями промчались даже поверх одежды. Моя вера сильна тем, что не отнимает желание и не парализует волю, подчиняя номенклатурным благодатям и штампованным озарениям. Я – баллистический разрушительный снаряд для любой монотеистической ортодоксии, и частоту колебаний моей животно-космической воли не измерить ни одним прибором.

В скупой молитве моей нет слов. Для тех, кто энергетически связан со вселенной, слова – пустота.

Я, великий пантеист, совершенно ясно почувствовал, как там, далеко-далеко по ту сторону ощущений, все файлы, несущие информацию о моем Неверии, сжались от боли, моментально заразившись хищным компьютерным вирусом, и ответная волна радости пронзила тело, будто прицельный восторг снайпера, одним, выстрелом накрывшего огромный вражеский объект. И духи всех цветов и мастей, хохоча, забесновались во вселенной, завидев мою победу.

Молча я низко поклонился им всем.

– Ну, все готово, Фома Фомич, вы свободны, – ехидничал Эдуард Борисович, потирая затекшую от напряжения руку и, кажется, отменно довольный собственным ехидным умыслом.

– Вот и весь вы, – умиротворенно пропел Каноник, показывая обыкновенную трехдюймовую дискетку, только что вынутую из дисковода компьютера, словно она являлась центральным атрибутом сакрального культа.

– Так быстро?

– Да, представьте себе, чтобы разобраться с вами, нужно меньше времени, чем на тестирование винчестерского диска.

Несчастный человек, он не понимает, что любое изобретение имеет обратную сторону. Корабли, открывшие Новый свет, привезли в Старый свет сифилис. Каждое растение, каждое явление и каждое открытие имеют своего паразита. Даже в него я согласен превратиться, лишь бы выжить. Это моя правда, мой закон. У меня нет другого выхода, меня загнала в угол Утопия.

Я – живой паразит на теле мертвой Утопии, потому что не хочу умирать или уродовать себя ради слов и абстрактных идей. Это первоосновной инстинкт живого организма. И ни официальной религии, ни тупо агрессивной туше государства, ни химически ядовитой идеологии не удастся разрушить во мне эту священную основу жизни и заставить бросаться на амбразуру ради горсточку чужих красивых слов.

Это – постиндустриальная мифология, совершенно не сводимая ни к героической античной, ни к более поздним слащавым житиям. Это новая история, новая этика, новая героика, новая мифология, и я их испытатель (...)

Тотчас в доме сделалось какое-то общее движение. Эдуард Борисович, дрожа ноздрями в такт топоту разнополых ног и вытирая в частых приседаниях потные руки о брючины, вдруг предложил выпить шампанского. Неизвестно откуда возник жизнерадостный Григорий Владимирович. Он поморщился и как-то неискренне поблагодарил меня за (...)

За что именно, я не расслышал, ибо комната наполнилась жемчужно-хрустальным Лизиним смехом, причины которого мне также были совершенно неведомы. Ее ослепительные непредсказуемые наряды, выходящие концентрическими волнами вокруг тонкой талии, обожгли глаза. По-глупому хмурый прислужник Марк втиснулся в комнату с подносом на руке и, оберегая другой ладонью хрупкие бокалы от сочных раскатистых возгласов, принялся обходить нас. Он подобострастно сопровождал взглядом каждый искристо-бурлящий бокал, облепленный светом, а белые перчатки Марка уже успели немало намочить. Все наполнилось жизнью, кто как умел, кроме меня. Хотя должно было быть наоборот. Спины, плечи, запястья, Лизины локоны, обработанные слабосветящимся и благоухающим составом, ее длинные ногти, покрытые голографическим лаком, бицепсы Балябина, дряблый гофрированный блеск в глазах Смысловского и съехавший на сторону воротничок аляповатой клетчатой сорочки – все это поползло в стороны, забываясь в щели моего изможденного восприятия, а пена розового коринфского шампанского липкой ватой застряла в горле (...)

– Фома, собирайтесь, я приглашаю вас на большую королевскую охоту. Собирайтесь все! А вы, Марк, выключите аппаратуру и приберитесь в комнате у Фомы Фомича! – выкрикнул Григорий Владимирович, пробивая насквозь все оживление, и наотмашь поставил бокал на поднос из черного стекла, так что служитель едва не рухнул на пол вместе с ним.

Весь особняк взорвался от бравурной музыки в стиле рок, которая скрасила время экипировки. Воздаю Балябину должное по части музификации помещений. В этом он знал толк, и качество акустики в любой из комнат всегда было безупречно ненавязчивым. Аппаратуру же он, как правило, предпочитал византийскую за ее высокие характеристики и сервисные возможности. Собравшись, мы спешно загрузились во фракийские автомобили, специально предназначенные для сафари. Нас неожиданно оказалось более дюжины молодых людей на четырех машинах, украшенных флажками и лисьими хвостами. Марк сновал между нервозно кряхтящими заводящимися машинами, будто стилизованный шаман в клубах синего дыма, по-прежнему подавая шампанское смеющимся мужчинам и подсаживая авантажно кокетливых дам в высоких кожаных сапогах. Другой прислужник подносил двустольные автоматические парфяньские винтовки с прикладами, украшенными резьбой, инкрустациями и гравировкой. При виде оружия и экзотических костюмов прохожие испуганно жались к стенам от домов и деревьев, ибо все последние сборы происходили уже прямо на улице, возле высокого забора, плотно увитого плющом. Кто-то кричал, требуя флягу и нож, кого-то разобрало целоваться. Коренастый татуированный человек в кожаной безрукавке и черной замшевой кепи решил испробовать винтовку на городских голубях, а в саду уже кричал павлин, переполошившийся и растерявший перья. Громко играл магнитофон, парализуя окрестности турбированными басами, и нам было отменно весело,

## § 22

в отличие от всей большой страны, никогда толком не помещающейся ни на одной карте.

Я был одет в вытертые джинсы-галифе, рыжие краги времен Первой пунической войны, старомодные мотоциклетные очки и летный шлем той же эпохи с воткнутыми в него павлиньими перьями, а также в черный гвардейский двубортный френч с расшитыми эполетами, аксельбантом и медалями. Григорий Владимирович оделся в кожаные брюки, мягкие десантные сапожки и майку из плотной ткани защитного цвета, обозначив, таким образом, все достоинства фигуры. А Лиза соорудила на голове какую-то inferнальную прическу, дополнив ее столь же агрессивным макияжем. Кожаные ботфорты с тисненым изображением и бахромой, кожаные шорты, черный старинный кружевной лиф и огромный бесформенный сюртук из сетчатой ткани нараспашку. Удивительнее всего было то, что цепи, браслеты и легкий мелкокалиберный карабин также были подобраны ею в тон. Прочая же публика оделась не менее экстравагантно.

Легкий хмель мясистым бутоном распустился внутри моих легких, а Лизино лицо и солнце, совершенно одинаковые по величине, яркости и удаленности, окончательно меня ослепили. Все ощущения из разряда возможных третьим веком прильнули к глазам. Я вспомнил несколько поколений людей, пожизненно прикованных к светлой мечте, и крикнул что есть мочи:

– Господи, дай мне силы хотеть и сделай так, чтобы желание мое всегда было беспредельным, необузданным и острым, словно все, что происходит со мной, происходит в первый и последний раз! Это мой единственный шанс высосать все соки из окружающего мира и впитать их! – и мне почудилось, что кто-то взял мою голову сильными, руками и обжег своим чистым, дыханием.

Григорий Владимирович скользнул сильными пальцами по автоматической винтовке, будто бы уже предвкушая битую дичь, и со всей грацией торжествующего великана бросил мне в ответ поверх крутого плеча:

– Фома, да вы нарушитель идеологического фонда человечества...

... и в этот миг стальные чрева машин, точно сговорившись, рванули нас вперед, начиная души людей крикливым ветром, азартом и быстрым одиночеством.

Обрывки музыки, разрываемой на чести при резких виражах, сверлящие женские возгласы и надсадный мужской хохот, растянутые лица зевак, островки мерной растревоженной жизни и ветер, ветер пополам с распущенными волосами – все это донесло нас до леса. С разбойничьим улюлюканьем, скрипением кожаных ремней и одежд мы покинули автомобили, утонувшие в желто-фиолетовой от солнца траве оврага, и, по инерции еще полные движением, бросились в лес с подлинным воодушевлением. Поваленные стволы, поросшие разноцветным бархатным мхом, вечнозевающие дупла сонных дубов, острые назойливые ветви, кочки, чреватые вывихнутыми ногами, подозрительные ямы и пни, обширные полотнища седоватой паутины, натянутой вдоль и поперек солнечных лучей, и Бог весть что еще быстро охладили наш порыв. Велико же было мое изумление, едва в этом безмятежном растительном месиве я встретил двух водруженных егерей в форменной одежде с двумя загрустившими псами на истертых поводках. Люди осмотрели меня, не акцентируя внимание на эффектной внешности, а только в надежде предупредить желания. В двух этих морщинистых лицах не было ничего необыкновенного, разве что одно было, кажется, давно опалено порохом, и черные точки от близкой вспышки успели изрядно поблкнуть. Я пробежал между егерями, обеспокоив только собак, нехотя лаявших в спину. Далекие, нечеловечьи от эха кри-

ки людей, одиночные выстрелы, сыпавшиеся со всех сторон невпопад, почти детские крики птиц над головой, и снова назойливые ветви и не менее назойливые мысли. Утомленный всем этим, я вышел на поляну с удивительно низкой бледной травой без единого цветка вокруг и увидел...

... Лизу, стоящую ко мне спиной. Она пристально вглядывалась в лес, все так же грациозно держа легкий карабин на плече. Как изумительно волшебна была она в костюме своенравной охотницы!

Сбросив шлем, очки, я тихо подошел к ней. Сбил Лизин карабин в траву, взяв за плечи, повернул ее и, не смотря больше в киноарные глаза, губами наощупь поцеловал ее так, как учили мои всеильные жизнерадостные Боги. Поразительно, что она даже не вскрикнула от испуга! Во всем Лизином существе не было сопротивления, хотя не было и ответа, словно я целовал женщину с мороженым во рту.

– Что вы делаете, Фома? – спросила она тихо, смирившись с объятиями.

– Бешусь с жира! – ответил я, энергично поедая мгновения краденой близости. – Христианство бросило в Эрос ком грязи и принялось вылизывать раны нищих, а я позабыл о нищих и вылизываю всю грязь, что досталась Эросу. Я – новый язычник. Извини, мне нет никакого дела до мирового добра и зла, до чудовищного эксперимента, который ставят надо мной. Мне нет никакого дела до того, что ты господская женщина, а я всего лишь дорогой придворный шут. Я люблю тебя. Это – моя религия.

Она мягко освободилась.

– А как же нищие?

– А я не запрещаю быть им богатыми. Люди приходят и уходят, а животворный символ Эроса постоянен. Так что же нужно очистить от гноя и грязи? То, что вечно, или то, что временно своей убогой временностью? Нищета – худший из пороков и тягчайшее из преступлений, а христианство и Утопия канонизировали нищету и вживили ее в мозг людей. Христианство переносит рай в начало человеческой истории, а Утопия обещает мне его в конце. Но я-то посередине. Что же мне делать, ведь я живу после рая и до рая? Тогда вообрази себя богатым – и изобилие домчится к тебе со всей своей роскошной прутью. «Земная любовь, богатство, успех, гордость, своеволие, страсть, никому не подчиненный и никого не боящийся разум – тягчайшие грехи», – говорят мне христианство и Утопия. «Это великие блага, – говорю я, – берите и тратьте». Все, что есть в мире, в душе человека, в его теле, только затем и существует, чтобы быть истраченным без остатка. Почему же ты и я не имеем на это права? Ведь не одними же искусственными нравственными обязательствами жив человек. Христианству я никогда не мог простить печальные лица святых, а Утопии – постность обещаний и гадкие, безвкусные лозунги. Мне не нужна печальная религия и заоблачная высь Утопии. Я – веселый, витальный человек – люблю сильную пеструю жизнь, переполненную информацией и ощущениями. Я сделал из своей жизни дорогой необычный клип, христианство же хочет, чтобы я страдал. Утопия хочет, чтобы я жил завтра, а я хочу жить сегодня. Полета моих фантазий и трансценденции хватит на христианство и Утопию вместе взятые. Я просто иначе устроен. Разве это моя вина?

Лиза внимательно слушала. Яркий макияж делал ее сейчас не загадочной, а беззащитной. Она помолчала и, совсем по-детски вскинув голову, спросила:

– Скажи, а у тебя есть понятия греха и искупления? – локон промчался по ее лицу вслед за разделившим нас ветром.

– Нет, я не понимаю, что это такое, – ответил я, аккуратно сдув локон на место ветру назло.

– Так значит ты Бог?

– Очень может быть, только мне некогда думать об этом: я слишком занят жизнью. Я потребляю ее, – глубоко вздохнул и продолжил:

– Слишком много разных людей пользуется словом «грех», присваивая право на правду, а кровь льется. Поэтому я зажмурился и забыл, что такое грех. Может быть, в этом все дело? Ведь придумал же кто-то это слово и его значение, а я, Фома Неверующий, забыл.

Не нужно присваивать прав на абстрактные моральные категории, а просто жить в радости и счастье, давая жить другим. И тогда окружающие, глядя на тебя, начнут жить так же. Может быть, все зло заключено в нормах, которыми опутаны люди? Сам факт нормы для различных людей несет в себе невысказанное метафизическое зло!

– Так ты допускаешь свободу от норм, значит, допускаешь свободу зла?

– Нет, я допускаю свободу от зла. Если человек свободен, зло ему просто не нужно, потому что человек не греховен изначально, как считает христианство. Он чист, и нужно помочь осознать свою чистоту, тогда и зла не будет. Если человек все время будет думать о своем грехе, то чище от этого не станет.

Она мягко отстранила меня и медленно пошла в чащу, оставив карабин лежать в блеклой траве.

– Оставь меня сейчас, пожалуйста, оставь, – сказала она, потеряв всю свою экстравагантность, и так же неожиданно скрылась за первыми деревьями, как и возникла на этой поляне.

Я простоял долго в метаэтическом оцепенении. Резко опомнившись, принялся заполнять свой многострадальный блокнот.

Мне показалось, что наступило уже другое время года или другой год вообще, так долго я стоял на месте. И цвет солнца, и цвет леса, и цвет неба – все стало другим. Я медленно побрел в ту сторону, куда ушла Лиза некое неизвестное время назад. Трава имела уже иной оттенок...

... и в ней я с ужасом увидел следы крови.

От неумемного предчувствия совершенно опустошенным я принялся искать причину нежданного кровопролития. Писки были недолговременны. Испачканный собственной кровью, облепленный землей, листьями и травой, на боку лежал, тяжело дыша, лисенок без правой передней лапы. Все его существо, обессиленное потерей крови и сил, затаилось, глядя



на меня с тихой злостью. Я посмотрел по сторонам и увидел в нескольких метрах капкан с вывороченной и окровавленной вокруг травой и торчащим из него куском передней лапы несчастного лисенка. Бедная тварь угодила в капкан и, не желая в смиренности терять жизнь, отгрызла сама себе лапу. Судя по ране и вырванной с корнем траве, было видно, что борьба с собственной частью тела заняла много времени. Никогда не подозревал, что во мне столько жалости. Непонятное творилось со мной: будто и лес, и небо, и солнце разом сделались бутафорскими. И не стало во всем мире ничего, кроме моего раненого внимания и неистовой злости маленького зверька, собравшего последние силы для борьбы, которая не принесет ему ни свободы, ни жизни. Он дернулся всем телом, завидя мое приближение, надеясь улизнуть, но уже не смог, и, светясь зелеными немигающими глазами, смотрел так, как, наверное, никогда не смотрели друг на друга никакие враги на Земле. Было видно, как, кряхтя и стеноя, он собрал последнюю мочь для укуса, не имеющего теперь никакого смысла. Я был пленен этой парой маленьких животных глаз, вместивших в себе всю мифологию жизни. С выражением глупой жалости на лице я склонился над ним, не умея помочь, а он рычал, пугая меня маленькими зубами и могучим инстинктом жизни, готовый сражаться даже тогда, когда все кругом ие имеет никакого значения, когда борьба носит уже исключительно ритуальное значение. Моей мыслью было лишь взять его на руки и отнести к людям, чтобы как-то помочь. Я не внял угрозам лисенка, и он, отдавая все силы последнему сжатию челюстей, с потусторонним испуганием впился мне в руку, и весь лес в этот миг сделался оранжевым от боли.

Моя душа сбегала из тела, одним прыжком преодолела весь космос, вернулась назад, и я отдернул руку, замороженно уставившись на свежую рану, которая, как мне показалось, несла некое самостоятельное значение. Лисенок выжидающе смотрел на меня с выражением все той же inferнальной злости, а я взирал на рану, ожидая первую кровь.

Но крови не было.

Фрагменты бутафорского леса и неба снова заматались вокруг, словно переставляемые с места на место по указанию режиссера в павильоне для съемок. Пустые картонные туловища деревьев и бумажные, неровно вырезанные пыльные листья. Тишина кругом была изумительная, даже лисенок в ожидании моей реакции не издавал никаких звуков.

Какое-то, не учтенное мною до сих пор сверхъестественное чувство выплеснулось наружу, и с невыносимой для живого организма прытью я принялся раздирать черную ткань. Обнажив руку, ухватился двумя пальцами за край раны, с силой дернул лоскут кожи, чтобы посмотреть, наконец, что там...

... у меня внутри.

Глаза мои едва не лопнули от напряжения, силясь быстрее втолковать мозгу, что же там было. Периферийное зрение уловило, что глаза лисенка, катастрофически налитые злобой, вдруг подернулись неживотным изумлением, а затем преобразились чисто человеческим состраданием, потому что...

под кожей моей не было ничего того, что положено иметь человеку: ни крови, ни мяса, ни жил, а только...

... потерянные листы старых газет.

Я захлебнулся всем воздухом, бывшим в лесу, и дернул лоскут кожи выше, к тому месту, где полагалось быть венам, но там опять виднелись...

... пожелтевшие, измятые клочки старых газет с ничего не значащими рассыпями букв! Уже находясь по ту сторону здравого мира, я попытался хоть что-то прочесть у себя под кожей, но упрямые заношенные буквы упорно не собирались в слова.

И только тогда, когда буквы не поддались мне, я издал жуткий звериный вопль. Закричал снова и снова, призывая в свидетели хоть кого-то, но в оранжевом бутафорском лесу было пусто и тихо, а солнце убралось за грязные тучи, оставив меня в какой-то душной фиолетовой темноте.

Мир отгородился от меня ядовитой дымовой завесой. Не помня ни времени, ни пространства, ни себя, перемазанный землей и кровью, я шел к городу, неся на руках лисенка, уже не пытавшегося меня кусать, ибо даже ему было понятно, сколь это бесполезно. Случайные люди, сбившиеся в плотную массу на обочине шоссе возле нескольких расплюснутых легковых машин и растерзанных тел, увидев меня, мгновенно забыли об автомобильной катастрофе. Они расступились, и я прошел сквозь самое месиво из битого стекла и крови. Изумлению людей не было предела, словно я являл собою нечто более ужасное и, вместе с тем, интересное, чем случайная гибель в железных клочьях машин. Я шел полем и по сельскому мосту, через заросшую тиной реку, не ведая усталости в затекших руках. Ничего удивительного, ведь буквы на рваных газетных листах, которыми я был набит, совершенно не умели уставать. Слова, обозначающие поступки людей и их страдания, не знают усталости, и я был теперь квинтэссенцией этой бумажно-буквенной безудачности.

В последних рассыпах жесткого света, доставшегося этому дню, я вошел, наконец, в город. Зеваки забывали о минутных сенсациях прессы, женщины оставляли младенцев, стражи порядка бросали в объятья обстоятельств буквы закона, большие и малые, седовласые старцы и их румяные внуки оставляли беспечный досуг. Дельцы отвлеклись от своих дел, святоши – от святости, распутники – от распутства, праздные – от праздности. Все дела и понятия разом лишились людского воплощения, потому что в город вошел

Фома Неверующий.

Я не заметил, как за мною образовалось целое шествие людей с непонятливыми лицами. Неспешно подойдя к городской площади, я посмотрел на строительные леса, вечно живые от непоседливой работы, несущие во чреве своем гигантский монумент. От скрежета огромных плоскостей невидимых строительных машин ушам не было больно так же, как не было больно глазам от бесноватых вспышек электросварки. В мощных токах горячего воздуха леса, казалось, дышали, готовые вот-вот родить величавый памятник. Но ни я, никто другой в этом поколении не реагировал на сей гомерический мираж, потому что то место в душе, трепетно и стойко несшее мечту всего прогрессивного человечества, давно уже заостенело, как декоративный придаток эпохи. Я устал глядеть вверх, как, впрочем, и все в той толпе, что шла за мной, и посмотрел на площадь. Прямо возле забора, закрывавшего стройку, высилась разборная сцена, оклеенная вульгарными де-

шевыми плакатами с голыми девицами, а по ее краям в несколько рядов стояли акустические колонки, издали похожие на черные соты. Несколько людей озадаченно возились с проводами, а жизнерадостный музыкант лихо крутил между пальцев палочки, выглядывая из-за огромной, в несколько ярусов, ударной установки. Группы столь же озабоченных людей устанавливали во всех возможных местах световые прожекторы. Скопления узкоплечих меломанов, развязных девиц, подростков со светящимися глазами, неспособных обуздать азарт, подкатывающий к горлу. Мерное гудение усилительной аппаратуры, срывающейся на сухой треск и электронный кашель. Предстоящее площадное выступление рок-группы должно было рассеять нервическое возбуждение, которое витало в липком городском воздухе. Народ безошибочно жадно реагирует на бесхитростные развлечения. Так получилось, что я пришел сюда во главе целого шествия нравственно обессилевших людей в роли всамделишного мессии – языческого жреца эпохи расцвета информативного общества и распада вселенских моноидей.

«Это Фома Неверующий, смотрите!» – кричали люди и указывали на меня перстами, передавая из уста в уста мое имя, будто первобытное мистическое заклинание, не теряющее силы и очарования.

Стоило мне остановиться, как из боковой улицы, выходящей на площадь, появилась толпа инвалидов неприметной войны. Они шли пьяной гурьбой, хромая и стуча протезами, обнимая культиями уличных девиц, разбрасывая скабрзные реплики и свое бесшабашное инвалидное увеселение. Их было гораздо больше числом, чем о них говорили или писали. Плотн сбившись из-за увечности, они производили впечатление единого сложнодвигающегося организма. Каждый из них был ранен по-своему, но у всех были одинаковые матовые глаза и совершенно одинаковое расхристанное веселье.

Я переварил виденное, сжимая в руках рыжий меховой комок, испачканный бордовой кровью и зеленой землей. Лисенок подавал слабые признаки жизни, будучи безразличен ко мне, да и к себе тоже. Взгляды сотен людей столкнулись, и установилось гробовое молчание, по-прежнему нарушаемое только гулом и треском настраиваемой аппаратуры.

Пожирая друг друга беззубыми взглядами, все мы совершенно не заметили, как из такой же боковой улицы, выходящей на площадь, но с противоположной стороны очень тихо вышла столь же великая числом толпа одетых в одинаковые рубища. Все эти люди имели похожие безволосые, бескровные головы, а одинаковые бесформенные одеяния не давали понять, где здесь женщины, а где – мужчины. Бесполые, безжизненные лица, точно выращенные без солнца и соков земли, – это были облученные. Они хранили облученное молчание и также безо всякого интереса обвели бесцветными глазами площадь и всех собравшихся. Остальные улицы, ведущие сюда, были перекрыты строительными заборами и исключали всякую возможность прибытия какой-либо новой общности людей. Больше придти было неоткуда. Собрались лишь мы – случайно отвлеченные от мирской суеты, инвалиды неприметной войны и облученные. Что-то общее и неоформляемое шевельнулось в наших триединых взорах, переплелось. И весь этот тысячеокий взгляд, погрязший в мизерной мирской чехарде, изуродованный на не известной никому войне и вдобавок еще облученный, устремился к строительным лесам, смотря на них не снизу вверх, как всегда, а так, словно вся эта вечная стройка провалилась под землю зеркальным водяным изображением, куда каждый свободно мог бросить камень и покоробить идеальную гладь воздушного замка озорным всплеском, круговыми волнами, позабавившись собственной

## § 23

безнаказанностью.

Мы пришли радоваться.

Наш бездонный взгляд вылился весь без остатка. Люди поняли друг друга, и едва лишь привычная скука принялась омертвлять лица, как площадь пронзили первые ритмы рока. Целые заросли твердых разноцветных прожекторных лучей оцупали небосклон и вернулись на площадь. Золотистые бугоны пиротехнических эффектов окружили сцену, и энергичные музыканты, не щадя сил и инструментов, принялись ворошить инстинкты и чувства нескольких тысяч человек. Бенгальскими огнями вспыхнуло целое полотнище из трепещущих глаз, поедаемых неистовой мистерией одиночества в толпе. Только первый патогенный шок миновал и реактивное увлечение происходящим на сцене прошло, как плотная возбужденная толпа порыхтела и принялась беспорядочно веселиться. Появились клоуны, цыгане с медведями на цепях, поэты и уличные крикуны. Солдаты принялись поить шампанским случайных спутниц, растрянжиривая небритым хохотом свои грубые голоса. Музыка снова всюду, истерично бросаясь от тела к телу, обнимая обрубки и целуя в облученные пресные губы. Беспольный надсадный гул, крик, плач, клекот, вой, смех понесся под мощные своды вечерних небес. И вдруг, в неизреченной глубине неба, в тысячах световых лет от себя, я, как на яву, увидел...

... гигантское черное семя, которое принялось расти; и небо, не выдюжив этой неимоверной ноши, прогнулось, смяло мне дыхание. Толпа, сцена, огни, веселье – все это разорвалось посередине, раскрылось. И там было то же самое, снова и снова одно и то же: неугомонное пестрое движение и ничего больше.

Молниеносно боль испепелила мои бумажные внутренности, потому что я увидел разом всю историю Человечества, историю его абсолютной Мечты о счастье. И Мечта эта вселилась в меня. Все люди, жившие когда-либо на Земле, забросали меня своими надеждами и чаяниями. Тьма предсмертных хрипов рабов и невольников разорвала мне горло, агонии армий солдат буквально размазали меня. Миллионы стонов матерей, умирающих в родовой горячке, стали моим средоточием. И еще массы детей, видящих свою смерть сквозь игрушки, и еще, и еще... Все эти несчастные люди мечтали по-своему о светлом справедливом будущем. Мечтали на протяжении всей истории рода людского. Мечтали даже не для себя, а для далеких потомков.

И вот я стал воплощением этой мечты всего Человечества. Миллиарды горячих кровотокающих желаний срослись воедино, и появился

Фома Неверующий.

Как еще буквы терпят мое имя?

Человечество никогда не получало такой оплеухи, такого удара в самое больное место. Я бы на месте человечества выродился, ибо теперь мечта эта, как основная несущая сила всей эволюции рода людского, умерла.

Я провозглашаю кончину гранд-иллюзии!

Нет, не Бог умер, а нечто большее!

Умерло его назначение!

Провалился его грандиозный проект!

Богочеловечества нет!

Эй, вы, миллиарды угнетенных пращуров! Я не просил вас мечтать! Это говорю вам я, ваш благодарный потомок.

Озноб кошмарного видения лишил меня сил, и я упал на асфальт. Видение вынесло меня на самый купол космического ощущения, которому нет аналогов в мировой мистике. И уже на обратном его, запредельном, склоне я вдруг подумал, что, наверное, спустя тысячи лет сведущие и пресыщенные исследователи найдут мой череп и подробно восстановят по нему мысли, чувства и гигантские сейчас терзания, которые тогда покажутся примитивными, потому что человечество будет уже угрызаться из-за судеб Вселенной.

Не только жизнь тела восстанавливается по костям, но и жизнь духа. Даже жизнь эпохи и основной идеи этого биологического вида восстанавливаются по костям, просто современная антропология еще не дошла до этого.

Черной ассиметричной жемчужиной будут мои останки на фоне останков эпохи.

«Судьба утопии заключается в сложении цинизму... Воля к власти и нигилистическая борьба за мировое господство не просто разогнали туман марксистской утопии. Она, в свой черед, стала историческим фактом, который можно использовать как и любой другой исторический факт. Она, желавшая подчинить себе историю, затерялась в ней; она, стремившаяся воспользоваться любыми средствами, сама стала циничным средством достижения самой банальной и самой кровавой из возможных целей». [Альбер Камю.]

«Подниматься над чем-либо не означает непременно превышать, превосходить что-либо, не означает и преодолеть».

Всякое «анти-» застревает в сущности того, против чего выступает». [Мартин Хайдеггер.]

«Новое время стремятся вытащить человека из центра бытия. Для этой эпохи человек не ходит больше под взором Бога, со всех сторон обнимающего мир; человек теперь автономен, волен делать, что хочет, идти, куда вздумается; но и венцом творения он уже больше не является, став лишь одной из частей мироздания».

Новое время, с одной стороны, возвышает человека – за счет Бога, против Бога; с другой стороны, с геростратовской радостью оно делает человека частью природы, не отличающейся в принципе от животного и растения. Обе стороны взаимосвязаны и неотделимы от общего изменения картины мира (...)

Человеческое существо претерпело в новую эпоху роковые искажения и даже разрушения, но, вместе с тем, человечество сильно повзрослело». [Романо Гвардини.]

«Не в будущем, как предмет вождельний, находится истинный человек; нет, он существует действительно и реально здесь, в современности. Кто бы я ни был, полон ли я радости или преисполнен страданий, дитя ли я или старец, фанатик ли я или скептик, сплю я или бодрствую, – я всегда истинный человек». [Макс Штирнер.]

«Во все эпохи, когда люди мыслили и писали, существовало сомнение. Однако теперь сомнение в вере – уже не удел стоящих в стороне от жизни индивидуалистов, и возникает оно не внутри узких кругов. Оно превратилось в брожение, охватившее все население земного шара. Если человек всегда был в какой-то степени склонен к неверию, то раньше этому неверию отводилась лишь узкая сфера. В условиях жизни и трудовой деятельности прошлого люди сохраняли устойчивость своего существования благодаря религии. Условия же века техники способствуют утверждению нигилизма внутри населения, превратившегося в массы».

Растущее неверие нашей эпохи завершилось нигилизмом. Ницше оказался пророком. Нигилизм, бессильный вначале в своих отдельных проявлениях, становится со временем господствующим типом мышления. В настоящее время представляется даже возможным, что все наследие прошлого будет утеряно, что история человечества от Гомера до Гете будет предана забвению. Это звучит как предвидение, грозящее человечеству гибелью. Во всяком случае, очевидно одно, ни предвидеть, ни представить себе, что в таких условиях произойдет с человеком, невозможно.

В настоящее время мир подвержен обаянию такого философствования, которое ищет истину в нигилизме, призывает к странному героическому существованию, без утешения и надежды, к принятию суровости и беспощадности, к чисто посястороннему гуманизму». [Карл Ясперс.]

Ну, а дальше со мною произошло нечто следующее:

\* \* \*

## АБАКАБ

*структуралистская сказка*

*или*

*повествование о том, как Фома*

*превратился в Слово*

В некоем царстве, некоем государстве жил был Фома Неверующий, основное занятие которого заключалось в том, чтобы не верить тому, что творилось вокруг него в вышеозначенном царстве-государстве, так как происходящее было неправильным. А неправильность, эта состояла в том, что слова совершенно не соответствовали тому, что они должны были

обозначать. Вначале Слово обозначало одну вещь или понятие, а потом вдруг изменилось, и для обозначения их привлекались иные слова. Прежние же предавались анафеме, а вместе с нею предавалось анафеме и то, что они определяли.

И так продолжалось долго.

В этом и заключалась основная неправильность данного царства-государства. Менять все местами. Ну, а всех несогласных с таким положением дел оно беспощадно наказывало тем, что отнимало хорошие слова и вещи, оставляя в пользование недовольным несколько неприятных слов, которые в большинстве своем не обозначали совершенно никаких вещей, а если и обозначали, то самые неприятные. В царстве-государстве никак не могли понять, что такая частая перестановка слов мешает его существованию. Но чиновники умудрились меняться в такт с переменой слов, и потому никто ничего не замечал, и все выходило гладко, до поры до времени. Много вещей, слов и людей потеряло царство-государство из-за этого, но ничего не могло поделать. Таково было его устройство. А тот, кто придумал это устройство, был чем-то вроде Бога. Хотя странный и непонятный был этот Бог, и такой неудобный.

Говорят, что когда-то, очень-очень давно, на том же месте или рядом было другое царство-государство, где все слова в точности соответствовали вещам и понятиям, которые они обозначали. Но кому-то это не понравилось. И тогда этот Он перевернул все с ног на голову, убедив всех, что так будет лучше и честнее, и при этом, конечно же, стал Богом. Так бывает всегда, когда Боги приходят в нашу жизнь. Или те, кто пытаются быть Богами, не будучи ими на самом деле...

Но это было давно, и все уже забыли думать о том, что слова могут соответствовать вещам. Диковинно. Сказка, да и только. Ну, разве так бывает, чтобы слова всегда были в ладу с вещами? Это неправильно. Так учил наш новый Бог. Всех...

И только Фома Неверующий не верил этому, не верил царству-государству, его словам, его вещам и его Богу. Трудно сказать, отчего это произошло: то ли оттого, что он уродился таким, или еще отчего. Никто не знает толком.

Долго думал Фома Неверующий обо всем этом и однажды придумал: все происходит оттого, что никому нет дела, как слова обходятся с вещами. От того, что слова стали беспризорны. Много бед кругом натворили эти ничейные слова. Они убили миллионы людей, сломали несчетное число вещей, даже если то были священные вещи. Новый Бог вывел слова из повиновения, и те, распясавшись, принялись кочевать по царству, вытворяя, что им вздумается. И так и эдак.

Так рассудил Фома Неверующий. И тогда, чтобы прекратить это безобразие, он решил расставить слова по местам, распределить их по вещам и понятиям. Но как сделать, чтобы они опять не убежали восвояси? Вот в чем был вопрос.

Долго думал Фома опять. Наконец решил он попробовать ВСЕ ЭТО на себе. Каково это, быть словом?

И стал тогда Фома Неверующий Словом.

Принялся он путешествовать по языку, который окружал этот мир вещей и понятий. Разные разности и чудные чудности увидел он. Много исходил путей дорог, но ничего не понял. Тогда решил начать с начала и пошел в гости к Существительному.

Имя Существительное было мощно, величаво и гордо на вид. Оно сидело, исполненное грациозного смысла, как царь, на троне и нехотя позволило говорить с собою.

– Кто? Что за персона? – спросил оно сперва.

– Я... я Слово, – ответил Фома.

– А содержание Слова? – спросило оно снова и неодобрительно нахмурило суффикс.

– Не знаю, – замялся Фома.

– Вот именно. Ты никакое слово. Ты слово без содержания, ты АБАКАБ. Вот и иди отсюда, стань Словом с содержанием, – сказала Существительное, недовольно и надменно указало Фоме идти вон. – Иди к Глаголу, а я тебе больше ничего не скажу.

Глагол принял Фому жизнерадостно и энергично, похотывая и лучась энергией.

– Представься! – потребовал Глагол, весело поигрывая спряжениями.

– Я АБАКАБ, – ответил Фома.

– Ах, АБАКАБ! И что ты собираешься делать? Что хочешь сделать?

– Не знаю, я хотел спросить.

– Ну, если ты не знаешь, что надо делать, тогда иди к Прилагательному. Может быть, оно чем-нибудь поможет, – сказал Глагол и сочувственно подмигнул несовершеннолетнему.

Имя Прилагательное встретило Фому, развалившись в приятной истоме. Видно было, что оно всеми силами наслаждается жизнью и, блестя на солнце дорогими одеждами, как манерный денди, спросило:

– Какой ты? Чей?

– Я АБАКАБ, – ответил Фома.

– А какой ты АБАКАБ? – спросило оно снисходительно.

– Никакой.

– Ах, никакой, ну тогда иди к Местоимению.

Подобные же разговоры состоялись во владениях Местоимения, Числительного и Наречия.

Предлог тоже испуганно встретил у входа в свои владения, долго нервно оглядывал и, вопросительно кивнув всем телом, сразу поняв в чем дело, сказал:

– АБАКАБ! Иди, иди отсюда, – и грозно хлопнул двумя словами, между которыми находился.

Фома шел дальше, но там было еще хуже. Он едва не наступил по рассеянности на междометие, и оно долго кричало, одновременно и спрашивая, и отвечая, и негодуя, и беснуясь.

«Что же делать? – думал Фома. – Утопиться что ли вон в той грязной речке под названием Брань?» Но хорошее воспитание и обыкновенное чувство брезгливости не позволили ему сделать это. «Или пойти, что ли, податься в другой язык и сделаться эмигрантом?» Но ностальгия затопила душу, и он патриотично постучал себя в грудь. Тем более, что никакого другого языка он не знал и никто бы его туда не пустил. Там и своих таких было достаточно.

Вдруг Фому осенило!

«А почему они так разговаривали со мною? Почему они говорили со мною свысока, как со своей собственностью, почему допрашивали? Кто они такие? Жалкие части речи! Да потому, что мое Неверие – это просто приставка «анти-» – и ничего больше. Как все просто: нужно присвоить слова, сделаться их хозяином и делать с ними все, что заблагорассудится. Я АБАКАБ для них, потому что я Фома Неверующий. А когда у меня будет другое предназначение, то будет и другое имя и я не буду больше просто Неверующим.

Неверие – это отрицание существующего, а всякое отрицание находится в подчиненном положении к отрицаемому. Оно отрицает, но не более того. Нужно просто быть самому по себе, быть самим собой, начиненным своим, отличным от отрицаемого смыслом, назначением и сущностью. Ведь отрицаемое бесстыдно питается соками моего отрицания, оно живет за счет моей силы и изобретательности. А если я перестану отрицать и буду жить своим собственным содержанием, отрицаемое просто захиреет и исчезнет. Я пойду к словам и заберу их все без остатка. Ну, а вещи и понятия, закрепленные за ними, никуда не денутся и тоже станут моими. Все кругом будет моим».

И, подумав так, он поступил соответствующим образом, став хозяином всего сущего, мыслимого и чувствуемого.

\* \* \*

«Язык не способен конкурировать с чувственной суггестивностью фильма, с волевым воздействием поп-музыки, эротическими призывами моды, и со временем будет все непонятнее, зачем нужно возвращаться от того, что они предлагают, к символическим фикциям литературы. Зачем читать, когда можно жить, непосредственно расходовать старые, долгое время отрицавшиеся, принудительно сублимировавшиеся инстинкты». [Дитер Веллерсхоф.]

«Человеческое сознание попало в ситуацию, в которой впечатления и внутренние импульсы не покрываются больше системой синтаксических и грамматических связей, каковую представляет собой исторически сложившийся язык. При разрушении этой системы высвобождается энергия отдельных наименований и отдельное слово становится более конкретным, чем в любой синтаксической связи». [Гельмут Хайсенбюттель.]

«Тот факт, что существуют различные языки, – наиболее зловещий факт на свете. Он означает, что для одних и тех же вещей имеются различные имена, и, пожалуй, не столь уж несомненно, одни ли это и те же вещи. За фасадом всей лингвистической науки скрывается стремление свести все языки к одному – единственному. История о вавилонской башне – это история второго грехопадения. После того, как люди утратили невинность и вечную жизнь, они вознамерились собственным искусством дорости до самого неба. Сначала отведали плода не с того дерева, теперь же разобрались, что к чему, и устремились прямехонько вверх. За это у них было отнято последнее, что еще сохранилось после первого грехопадения: единство наименований. Это деяние Божье было самым дьявольским из всех когда-либо совершенных. Смешение имен было смешением его собственного творения, и никак не взяты в толк, зачем он еще спасал что-то из волн потопла». [Элиас Канетти.]

Я очнулся после нервно-паралитического видения невдалеке от устало беснующейся толпы, которая уже не выказывала своего природного возбуждения, а скорее была на поводу у привычки. Облепленный обрывками афиш, я с трудом поднялся с земли в нескольких метрах от одинаковых вьющихся спин и с удивлением посмотрел на руки, вымазанные засохшей почерневшей кровью. Лисенка нигде не было. Все это время мне бросали цветы, об меня вытирали ноги, кричали «бис», обливали, будто кипятком, цветастой хулой, бросали карманную мелочь, словно нищему. С меня хватит. С простуженной душой иду по городу, пугая холеных обывателей своим видом. Кажется, меня окружают люди с облегченным хромосомным набором. Небо затекло красно-зеленым закатом, точно разлив по своду ядовитую смесь из сосуда сумасшедших размеров. Жарко, воздух противен, как теплое молоко, выпитое перед эшафотом. Всемирная история на этом заканчивается. Спасибо роду людскому за посильное участие. Можно смывать грим вместе с накладными лицами и подкладными душами и потрепать Сатану по щеке. Хорошая работа! Испуганный собственной несмысленностью, прислужник Марк открывает дверь, впуская меня в шутовскую вотчину. Его насторожил не изможденный вид и грязный костюм, а самый факт моего прихода. Дружелюбно присевший в реверансе павлин ехидно говорит: «Здравствуйте». Мы порядком сдружились. У нас одна миссия: красить глаз хозяину роскошными экзотическими выходками. Я ловлю на себе сочувственно-профессиональные ухмылки шутов, минуя коридор, увешанный мильми сердцу портретами, как вдруг...

... коричневое отчаяние смылось начисто у двери в рабочий кабинет Балябина, где вещает радиоактивный голос Эдуарда Борисовича:

– А теперь самое главное, смотрите сюда, Григорий Владимирович, вот этот ползунковый переключатель регулирует интенсивность излучения эгоанализатора. Я выставил его на отметку «3», так как тридцати-процентная интенсивность излучения от номинальной величины не опасна для вашего «я», и вы всего лишь почувствуете в себе мир Фомы Рокотова, не будучи завоеваны им всецело. Подчеркиваю, это самое главное: если вы поставите переключатель на отметку «10», сила излучения активного контура эгоанализатора сотрет ваше «я», и внутри останется только Фома Неверующий.

Неподдельное оживление Балябина слышится рядом, словно он осматривает новейшее оружие неслыханной разрушительной силы.

– Что, неужели вот так и все внутри меня сотрется и воцарится этот самый

§ 24

Фома?

– Трудно вообразить, но это так, уверяю вас, ведь матрица несет абсолютно всю информацию о человеке. Здесь все: и любовь, и страх, и зов крови, и религиозная трансценденция. Матрица, одним словом. Понимаете, на душу человека

можно перезаписать душу другого человека. Примерно так же, как на обыкновенную магнитофонную кассету поверх старой записи можно сделать новую, и от старой не останется и следа.

Самая необузданная фантазия имеет вершину – явь. Дверь в комнату была не закрыта до конца, и, гася в груди дыхание, я прикинул к ней, неслышно приоткрыв еще. То изощренное животное, что сидело в моих бумажных внутренностях, изготовилось к броску. Теперь или никогда. В нагромождении аппаратуры, на которой заживо сдирали матрицу с моего Неверия, я пристально разглядывал через щель основной блок активного контура эгоанализатора. Ну, инженер, лезь наружу – драться со всеми, теперь нужны твои мозги. Да, конечно, я разглядел этот проклятуший ползунковый переключатель справа наверху лицевой панели блока. Восторженно кланяюсь своему дальнему предку, который, очевидно, был пиратом, привык красть успех, женщин и золото и теперь сквозь поколения подарил мне эти бесценные пиратские гены, удешевившие силы. На цыпочках бегу через коридор к датчику домашней пожарной сигнализации, вынимая из кармана зажигалку, запалю и почти полностью засовываю ее живое огнедышащее жало в горловину маленького датчика пожарной сигнализации, что вмонтирован в потолок. Я смотрю на этот язычок пламени с завороченностью первобытного огнепоклонника. Ну же, Бог огня! Ну! Пронзительная сирена стала мне наградой. Прячусь за дверью, а пламя уже испепелило мои бумажные внутренности. Пожар! Вселенский пожар. Растревоженные голоса и топот двух мужчин сотрясают коридор. Смысловский с Балябиным бегут на первый этаж с криками «Марк!», словно слуга может защитить их от руки изобретательной Фемиды. Вот я в комнате, уставленной оборудованием, не глядя по сторонам спокойно вывожу заветный ползунковый переключатель на отметку «10». Затем аккуратно отламываю ручку и втыкаю ее на отметку «3», чтобы была полная иллюзия исправной безопасности комплекса. Милый Балябин, твоя огромная туша только хотела полакомиться моим пантеистическим миром! Ну что же, ты отдаешь его сполна, и Франкенштейн будет милой детской забавой в сравнении с тобой. Мое Неверие бессмертно, и ты захлебнешься им.

Я вновь пробрался в свою комнату и теперь уже спрятался в платяной шкаф. Суета и чертыхания долго еще разносились по дому. Первый заместитель министра клял почему зря всю сарматскую электронику и особенно фирму, установившую эту «безмозглую паникершу» – домашнюю автоматическую пожарную сигнализацию. Нестройные картинки детства витали у меня над головой в тесном платяном шкафу и будоражили жутко, пока два государственных мужа продолжали сановные игры с моими внутренностями...

Мне не суждено было стать свидетелем последних мгновений жизни Григория Владимировича. Этот душераздирающий документальный фильм мне никогда не прокрутить перед глазами. Маленький озорной мальчик Гриша, так уверенно карабкавшийся вверх с геркулесовой прытью. Спасибо. Я доделаю все, что ты хотел. Обещаю. Стоя в шкафу, качнувшись всем телом, вижу, как вдруг забираюсь на мощную спину сидящего Григория Владимировича. Никакого сопротивления и никаких признаков жизни. Заносу одну ногу ему на плечо, другую. И сижу верхом, как ни в чем не бывало. Отвлекаюсь только на уморительно занятный взгляд Эдуарда Борисовича, волхвующего над аппаратурой.

– Отдохните, уважаемый, давайте на сегодня закончим, я порядком устал. Да и знаете, ничего такого в этом Фоме нет, – говорю я совершенно не своим голосом и губами, будто сведенными стужей.

– Ну, конечно, я так и думал, – говорит угодливый Каноник, и глаза его, траченные завистью, смотрят уже почти с обожанием на меня... Стоп, почему на меня? Как? Уже?

– Идите, я все выключу. Извините, плохо себя чувствую... Боги, да как это все случилось? Ведь ничего не было, я просто прокатился по его внутренностям и сжег все дотла. Как Джин из бутылки. Дичь какая-то. Ты же хотел этого – вот оно, властелин чужой судьбы, собственности, карьеры, дома, женщины. Я взял все с боем. Это – мои трофеи. Я вырос в чужой жизни как огромный полифункциональный протез.

Мое чернокнижное генотипическое Неверие не заставило долго подлаживаться и приручать свои чувства к тому, что я превратился в другого человека, оставаясь все тем же Фомой. Снаружи для всех я по-прежнему Григорий Владимирович Балябин – первый заместитель министра, а внутри я Фома Фомич Рокотов – языческий жрец и вселенский анархист. Стоп! Но кто же тогда сейчас стоит в шкафу? Ведь это тоже Фома? Да, это Фома. Это я. Один человек и два тела. Фома-старый без плоти и будущего, несущий миру лишь свою взрывоопасную идею, и Фома-новый, человек с мощной плотью, будущим, со всеми внешними атрибутами преуспевания, но начиненный все той же идеей, только многократно усиленной с помощью диковинной трансформации. Цифровой Фома Неверующий. Никогда не думал, что так трудно, разговаривать с самим собой. «Ну, хватит стоять там за стеной. Иди сюда». Я выбираюсь из шкафа и, буквально шурша на ходу бумажными лохмотьями, что лезут из меня во все стороны, направляюсь в комнату к цифровому гибриду с методичным умом политика и душой диверсанта. Одобрительно похлопываю по щекам изображения шутов, пока иду по коридору. Все чудесно. Так держать. Я не осрамил нашу профессию. Спите спокойно.

– Здравствуй, – говорю самому себе, толкнув дверь ногой, и низко кланяюсь.

– Хватит паясничать, – отвечаю себе вошедшему, – присаживайся, у меня к тебе разговор.

– Неужели? Как к ближайшему родственнику или все еще смертнику-шуту, на котором собрались вывозить страну из кризиса? Виноват, забыл спросить. Как, вирус компьютерный не беспокоит, в пору пришелся или нет? Да и на сколько персон прикажете заказывать поминки по безвременно покинувшей нас душе Балябина?

– На одну, на тебя, а я как-нибудь переживу. Угомонись, хочу поблагодарить за все, что ты сделал для меня. Спасибо тебе, мой неприметный герой. Ну, а теперь пора умирать, хотя в принципе ты умер давно, просто до сих пор у тебя не было случая заметить это. Ты умер давно, вспомни воспалительный процесс – это было твое овеществившееся Неверие. Оно сожрало плоть, оставив лишь оболочку и слова.

– А как же ты, ведь и ты унаследовал мое Неверие? – говорю я, нежно улыбаясь, отрываю куски бумаги с тела, скапываю их в шарики, кладу на ладонь и сдуваю в сторону державной фигуры заместителя министра – моей фигуры.

– Ну и что, ты и я – это совершенно разные люди. Я – это есть Я и мои обстоятельства, как утверждал Хосе Ортега-и-Гассет. У нас одно Я, это верно, но совершенно разные обстоятельства. Твое Неверие было не целью, как ты ошибочно думал, а всего лишь средством, чудесным, неуязвимым, непобедимым, но все же средством. В одних и тех же обстоятельствах ты больше не мог использовать это средство, это могу теперь сделать только я. Энергия мысли должна иметь объем, где ей можно расправиться и реализовать себя. В твоей старой жизни этой энергии не было места. Она замыкалась на себя в сумасбродных выходах и не более того, а теперь энергия эта имеет прекрасный объем и неисчислимое количество путей реализации. Гигантская идея могла убить ее носителя, что и сделала. Теперь же она досталась могучему активному телу, великолепным обстоятельствам и прекрасному будущему. А ты будешь теперь для меня предметом цифрового культа. Моим новым Богом.

– Замечательно, договорились! – почти кричу я, похлопывая эгоанализатор со смешанным чувством ошеломительной победы и глубокой ностальгии по собственной жизни и детству, к которым никогда не смогу прикоснуться на людях как к своей собственности. Я вырываю из груди большой клок бумаги как раз там, где когда-то было сердце, и протягиваю его новому Фоме.

– Скажи только, как ты думаешь, а старинный спор между Христом и Антихристом имеет к нам какое-нибудь отношение?

– Э, нет, только не это, – говорю, скорчив брезгливую мину, – на эти уловки я не попадусь. Ведь я человек третьего тысячелетия, и такой примитивный спор уже никак не отражает нашего противоречия. Тема Христа и Антихриста – это проблема людей второго тысячелетия, и я к ней не имею никакого отношения. Неужели ты не видишь, что я существо более высокого уровня организации?

– А причем здесь уровень организации?

– Как причем? За две тысячи лет этого противостояния люди так и не поняли, что именно сам спор и рождает страсти, распри и неисчислимые жертвы. Встань выше Христа и Антихриста – и все противоречия исчезнут сами собой. Все жертвы, страдания, искупления, откровения, номенклатурные грехи и добродетели, все соблазны и вся святость тоже.

– А что же останется?

– Жизнь. Просто жизнь, без толкований, ограничений, искажений, присвоений истин. Если у тебя над головой стоит чья-то мораль, религия, учение, знай: у тебя уравнение совести первого порядка. Такое простое. Если ты вырвался из пут религии, государства, идеологии – у тебя уравнение совести второго порядка. А вот если ты встал выше всего этого, то твое уравнение совести имеет более высокий, уже третий, порядок. Кстати, все основатели религий и государств стояли выше своих детищ, иначе они не стали бы Богами и идолами. Посмотри, как мы отличаемся друг от друга. Твой основной императив – «я хочу», а мой – «я хочу хотеть» или – «я знаю, что я хочу хотеть». Я стою на ступень выше, мое сознание совершеннее. Так что все эти моралетворческие вопросы побереги лучше для романтических девиц. А мне, извини, некогда: передо мной простирается третье тысячелетие с его прекрасной сильной необычной религией, которая обновит человека, превратит его из скотины, пресмыкающейся перед чужими словами, во властного гордого гражданина вселенной, и для этого мне нужно будет основательно потрудиться. Итак, мы условились теперь: ты один из моих новых Богов. Спасибо тебе еще раз за все, что для меня сделал. Прощай!

И с этими словами я подошел к нему, этому своему бывшему «я», разорвал на нем одежду и остатки кожи, так что вся бумага, бывшая его наполнением, мятыми ключьями вывалилась на пол, и Фомы Фомича Рокотова не стало.

Остался Новый человек.

Самодельное творение.

Две тысячи лет христианских монотеистических смирения, увещаний, анафем, костров, догматики, откровений прошли даром – существую я – язычник компьютерной эпохи, человек солнечной ренессансной культуры, сквозь тончайший цифровой покров мира поклоняющийся изначальным священным основам жизни. Теперь я знаю точно, что окончательно расхристианился. Я отмылся от чужого ненавистного мифа, отстроив и разукрасив свой собственный. Великое облегчение снизошло на меня.

Мои предки, тысячу лет назад сменившие здоровое местное язычество на поклонение привозному нищему распятому человеку, видимо, не страдали угрызениями совести за отход от веры отцов. Я чувствую это генами Неверия. Я, неоязычник, тоже не испытываю никаких угрызений совести по этому поводу, потому что раз и навсегда отнял свою совесть у всех царств, религий, идеологий и присвоил всю без остатка. Это святотатство с лихвой покрывает более раннее, и святотатствам нет больше места в моей свободной душе.

Во всем доме было тихо, и многочисленные островки яркого света, разбросанные по обиталищу заместителя министра, усиливали эту тишину до такой степени, что в моем новоприобретенном теле не было места ни для каких прежних ощущений. Я глубоко вздохнул, пробуя новые легкие, и вся мускулатура на груди и спине послушно затвердела, растягивая легкую ткань сорочки. Поначалу мне показалось, что на мое старое тело одели еще одно, более мощное и ретивое, отчего я боялся давать ему лишнюю волю, опасаясь непредвиденных последствий. Каждое телесное ощущение имело продолжение, и мне почудилось, что все чувства ходят внутри меня на ходулях, а за диковинной непривычностью гналась уже острота восприятия. Моей душе, порядком уставшей от прежнего тела, в новом организме все казалось ярким, мощным, стремительным, и уже мнилось, что предела этому наводнению свежими ощущениями жизни не будет конца. Все это вместе взятое доставляло равномерное восхищение миром. Я поднял руки, точно в ритуальном танце, и двинул тело в сторону. Я ощутил себя пловцом, погруженным в бассейн с необычной жидкостью, каждая молекула которой имела смещенный центр

тяжести, и двигаться в этом мягком реактивном месиве было сущим наслаждением. Новые мускулы быстро свились вокруг цифр матрицы, и прежнее Неверие моментально затвердело, став монолитным.

Я воздавал хвалу всем силам мира, что помогли мне, и благодарность эта была не рафинированно слащавой, а горячей и восторженной. Все силы мира, благодарил я, создавая себя их данником. Всем идолам, всем символам космоса и кумирам поклонялся я в тот миг, бездонный и необъятный. Всего в мире было в избытке в это мгновение, и мне бы не снести его, если бы не моя секретная миссия.

Я посмотрел под ноги. Здесь в изобилии валялись вороха бумаги, мятые грязные одежды, теперь уже невзрачные лоскуты кожи. Подобрал черный френч, вывернул его наизнанку и без особого труда обнаружил собственный метафизический стерео-блокнот, из которого уже буквально вываливались и синие слова и красные, так их было много. Возле центрального блока эгоанализатора на придвинутом стуле лежал цветной целлофановый пакет с какими-то соединительными проводами от оборудования и инструкциями по использованию программного обеспечения. Я вытряхнул все прочь и принялся старательно собирать в пакет то, что осталось от бывшего Фомы, положив блокнот на самый верх. Наконец, я вынул из дисковода центрального процессорного блока дискету с матрицей собственного Неверия и, мысленно похвалив ее за цифровую проворность и достоверность, также бросил в пакет (...)

В это мгновение неистовая мысль, выбившаяся из жгута ощущений, сообщила мне восторженное изумление победителя, не разумеющего, что ему делать с добычей.

Я вспомнил, что в спальне меня ждала Лиза. Моя трофейная любовница, моя прекрасная Богиня. Новый не изданный мною жар бросился в лицо, словно во мне лопнул огромный ковш с раскаленным металлом.

Единственное, о чем я пожалел сполна, так это о том, что безвременно ушедший от нас Григорий Владимирович Бальябин навеки похитил у меня тайну первой ночи с Лизой. Уничтожив все, что было на месте его души, я уничтожил и это. Ничего не поделаешь, все будет теперь вновь для меня – нового самодельного человека с новыми задачами, новой судьбой и новым мироощущением.

Я не по образу и подобию Божию.

Я сам по себе.

Мне не дарили новую жизнь, я взял ее сам. Взял с боем, приключениями и любовью, с великой моей языческой верой и огромным удовольствием.

Это – первый случай искусственного метемпсихоза в мировой истории.

Поставив на стул пакет с останками Фомы, я выключил аппаратуру, обвел хозяйским взглядом просторный кабинет, как бы уже примеряясь к нему. Стол, стулья, стеллажи с папками, журналами, реферативными сборниками, портативная бизнес-станция. Никаких украшений, картин, безделушек, расплывающих сановное внимание. Завтра. Всем этим я займусь завтра, а сейчас...

Слабый желто-коричневый свет ночника открыл очам спальню с полосатыми обоями и широкой кроватью, где в россыпях голубого постельного белья разметался фонтан темно-русых Лизиных волос. Я поставил колено на край ложа и со сверхъестественным обжигающим чувством взялся за край одеяла. Лиза вполжелания простерла ко мне руку и обратилась полусонными губами. Это были совершенно чужие для меня губы, совсем не такие, какими я знал их в потусторонней жизни. Никогда не думал, что обыкновенное человеческое тело может доставлять столько радости и, вместе с тем, смысла, что это до такой степени идеальный агрегат для порабощения абстрактного счастья. Я аккуратно попробовал на вкус ее имя, прислушиваясь к тому, как оно будет звучать в новых устах. С новым чувством и новым правом.

– Лиза...

Она вопросительно выгнула брови и наконец открыла глаза, отчего я молниеносно вспомнил тот ее испуг, когда впервые пристал к ней на улице. И еще – краденый поцелуй на поляне в лесу, и еще – тысячу взглядов, поз, движений, и попросил про себя полиэтиленовый пакет с останками Фомы: «Придумай для меня что-нибудь новенькое. А?» Что он мне буркнул в ответ, было не слышно...

Я проснулся так стремительно, словно сорвался с наезженной спирали сладостного сна, и посмотрел на Лизу так, будто все диковинные трансформации, что произошли со мной, могли иметь обратное действие. Но, ничего подобного. Моя новая судьба текла уверенно и неспешно по заданному маршруту и не разделяла моих страхов. Где-то очень далеко рассвет поднимал уже голову, робко, но красиво, и было все так же жарко. Мы давно сбросили одеяло, и сквозь идеальный фиолетовый контур Лизиного тела, подсвеченного подсматривающим восходом, я неожиданно увидел Вселенную. Как будто кто-то тихо, но настойчиво подозвал меня к распахнутому настежь окну, я встал с постели и подошел, вслушиваясь в слабый ветер, ласково трущийся щеками о каменные стены. Я глотал предутренний воздух, и мне все было мало. Мысль о том, что история рода людского на этом заканчивается, пришла ко мне в промежутке между глотками как нечто само собою разумеющееся. Вот здесь, прямо за окном. Стоит только протянуть руку. Один Бог или их будет много, сейчас это уже не имеет значения. Совсем рядом, потому что здесь же, за этим окном, заканчивается история человечества. Она началась со Слова и тем же Словом должна неминуемо завершиться. И от этой мысли на душе было не мрачно и не тяжело, а, напротив, легко и спокойно, все кругом наполнялось гармонией и ясностью.

– Почему ты не спишь? – был мне сонный Лизин вопрос. Я резко обернулся и спросил ее:

– Скажи, а ты бы хотела попасть в рай?

Она улыбнулась так, что даже густая еще марлевая темнота донесла мне оттенок ее изумления.

– Нет...

– Вот именно, и я тоже, потому что мне кажется, что он просто потерял свой первоначальный смысл как идея и состоя-

ние.



Она рассмеялась, отгоняя сон.

– Я не узнаю тебя, – промолвила она, приподнимаясь на локте и замирая, как античное изваяние.

– Я себя тоже

## § 25

не узнаю.

Мы неожиданно набросились друг на друга с расспросами, точно вознамерились поменять место, уже отведенное для нас в душах друг друга. Ее удивление нарастало с каждым моим словом, интонацией, жестом, и я даже пожалел, что не принес пакет с Фомой в спальню, чтобы он мог оценить, сколько я позаимствовал у него. Мы коснулись неких сторон моей жизни, и прежней и настоящей, как вдруг она переспросила с неподдельным изумлением:

– Как, ты не умеешь плавать?

– Нет, я совершенно сухопутный человек.

«Возможно, Балябин и умел плавать, но ведь Рокотов не умел» – пронеслось в мозгу.

– Послушай, а в теннис ты играешь?

– Нет.

– А в карты?

– Да нет же, мне просто это незачем.

– То есть, как это? Не поняла.

– Видишь ли, мне с самого детства казалось абсурдным искушать судьбу в такой мирской ерунде, как азартные игры, пари и примитивный физический риск. Зачем? Ведь каждую минуту бытия я рискую душой перед Богом, ибо не знаю, придется ли ему по душе та или иная моя идея. А ты говоришь, риск, азартные игры. Я обуреваем азартом идей. В каждую минуту бытия я рискую проиграть душу, свою вечную мятежную душу, и потому всякий флирт с внешними, наносными обстоятельствами кажется мне просто смешным и никчемным. В мою игру не каждый может играть: в ней иные ставки.

Мы говорили еще долго, целуясь рикошетом, вбирая сквозь ласки поочередно все краски нового дня, а часов что-то около восьми я ясно ощутил физическую потребность заняться атлетической гимнастикой, принять холодный душ, выпить чашку кофе и вообще привести внешний вид в соответствие с новым местом в жизни. Совершенно случайно, толкаясь поочередно в каждую дверь на первом этаже моего нового жилища, я обнаружил весьма приличный гимнастический зал с массой аппетитно блестящих тренажеров, даже для каких-то неведомых групп мышц моего новоприобретенного тела. При виде этого остроконечного металлического блеска все мускулы мои спеленало желание привычных нагрузок, в результате чего полчаса самоистязаний на драконо-образных конструкциях и впрямь добавили мне свежести и уверенности, а холодный душ и свежее белье властно в мягко завершили все.

С нескрываемым любопытством смотрела на меня Лиза за завтраком, теряясь между высоким бокалом с апельсиновым соком, пластмассовой баночкой облепихового джема, розовыми ломтиками ветчины на листьях салата и ароматами кофе. Она бралась поочередно за все из того, что было на столе, и, казалось, ни в чем не находила вкуса, задумчиво крутя в длинных пальцах десертную ложку, а я завтракал с удовольствием, в лицах рассказывая веселые небылицы, и сам смеялся, совершенно не дожидаясь реакции Лизы. Что поделаешь? Я скверный кормчий женских настроений: я цифровой человек. Лицо ее было свежим после сна и, по моему глупому мужскому разумению, совершенно не нуждалось в макияже, хотя она и так не злоупотребляла им. Однако (...) Доев и допив, все, что было, я глубоко вздохнул, давая выход раскрепощенному блаженству.

– Спасибо всем, – гаркнул я, сокрушительно поцеловав Лизу в щеку, и отправился на работу. В коридоре, свежим оком воззрившись на пасквильные лица шутов, готовых выпрыгнуть на пол и учинить сумасшедший шутовской саботаж, остановился и вспомнил, что мощи великомученика Фомы нуждаются в достойном погребении, а лик его ожидает канонизации. Озираясь по сторонам, с пакетом в руках я выскочил в сад и, уже окончательно войдя в новую аристократическую роль, крикнул:

– Марк, да где же вы, в самом деле?

Перепуганный слуга примчался, на ходу застегивая манжет белой сорочки, без привычных бабочки и жилета.

– У нас есть какие-нибудь саженцы? Для сада?

– Да есть, дуб, я уже собираю...

– Отменно, Марк, вы даже не представляете себе, насколько это замечательно! Сейчас же несите сюда этот дуб, лопату, разматывайте шланг для полива, живее, живее... Привет! – крикнул я павлину. – Не уходи, ты мне будешь нужен.

Наконец, походив, как капрал по тюремному двору, я обнаружил в центре сада освещенное место, и перепуганный Марк, поочередно то роняющий лопату, то, как сказочный герой, укрощающий змеинообразный шланг, уставился на свежестриженный газон.

– Вот здесь. Ройте вот здесь.

Марк послушно моргнул и принялся как ни в чем не бывало копать яму. Он уверенно махал лопатой, не озираясь по сторонам, и по мере того, как черно-коричневый изъян в зеленом газоне увеличивался, смутные чувства одолевали меня, словно углубление это делалось в моей душе.

– Еще, еще... – отрешенно шептал я Марку, который, молчаливо вскидывая брови, вопрошал, долго ли еще рыть.

– Достаточно, – прохрипел я, вдруг потеряв голос и спешно протолкнув ком, образовавшийся в горле, одним рывком воздушной массы, уверенно сказал: «Несите саженец».

Слуга удалился на другой конец сада, а я буквально давился черной пустотой свежевырытой ямы. Не плакать, выть мне хотелось! Я открыл пакет, достал дискетку, блокнот и высыпал все в яму, прощаясь с рваными кусками бумаги, одежками и прочими внешними покровами последних дней моей старой жизни. Поверх бумаги бросил в собственную могилу

дискету с матрицей Неверия и двцветный стерео-блокнот. Как вещи ни то, ни другое мне больше не нужно. Теперь это атрибуты моего языческого культа, которым я буду поклоняться. Мне не нужна больше матрица, потому что я не хочу тиражировать себя. Мягкие комья земли летят в могилу как последнее земное «Прости». Земля мне пухом.

Марк появился из-за спины и, посмотрев в мои немигающие глаза, принялся тщательно водружать молодое красивое деревце на новое место проживания, прикрыв корневищем останки. Слуга делал все привычно уверенно. Набрасывал сверху землю, выравнивал, поливал дерево водой из шланга, убирал следы земляных работ и, приведя все в надлежащий вид, спокойно изрек:

– Готово.

– Спасибо, Марк, вы свободны, – ответил я, не двигаясь с места.

Сонмы духов окружили мою душу, со всего космоса слетелись они и це знали, как реагировать, продолжая молча тесниться. А что, собственно, я пригорюнился? Ведь я неоязычник, и печаль мне не к лицу. Пестрая, сильная, здоровая жизнь – вот моя молитва, которую подтверждаю всем своим бытием. Я заново посадил священный дуб язычников, который давным-давно срубил святой Бонифаций. Смотрите все! Все начинается сначала. С новой силой, жизнью и страстью. Храните меня, мои старинные Боги, спустя века я вновь обращаюсь к вам.

«Остается еще ответить на вопрос: какой будет религиозность грядущей эпохи? Не ее откровенное содержание – оно вечно, – а историческая форма ее осуществления, ее человеческая структура.

Важным моментом будет, прежде всего, резкое наступление нехристианского существования.

Разовьется новое язычество, но не такое, как первое.

Попытка не просто привести человеческое бытие в противоречие с христианским Откровением, а устроить его на собственном, мирском, действительно независимом фундаменте должна отличаться несоизмеримо большим реализмом. Пока нам остается только ждать и смотреть насколько удастся достичь такого реализма Востоку и что станет при этом с человеком.

Христианам всегда было трудно приспособиться к новому времени.

Там, где грядущее обратится против христианства, оно сделает это всерьез. Секуляризованные заимствования из христианства оно объявит пустыми сантиментами, и воздух наконец станет прозрачен. Насыщен враждебностью и угрозой, но зато чист и ясен.

Одиночество в вере будет предельным. Из отношения людей к миру исчезнет любовь. Быть может, люди получат совсем новый опыт любви; во всей ее изначальной суверенности, независимости от мира, во всей таинственности последнего «Почему?» И если мы говорим о близости конца, то не по времени, а по существу: наше существование все ближе подходит к необходимости абсолютного решения и его последствий, к области величайших возможностей предельных опасностей». [Романо Гвардини.]

«В мысли о некоей будущей религии, о которой нам сейчас еще абсолютно ничего не известно, есть что-то невыразимо мучительное». [Элиас Канетти.]

«Величайшая заслуга стоической концепции человека состоит в том, что эта концепция дала человеку одновременно и глубокое чувство гармонии с природой, и чувство моральной независимости от нее.

В сознании философа-стоика между этими утверждениями нет противоречия – они соотнесены друг с другом. Человек чувствовал себя в полном равновесии с мирозданием и знал, что никакая внешняя сила не может нарушить это равновесие. Признание абсолютной независимости, в которой стоики видят главное достоинство человека, трактуется в христианской доктрине как его основной порок и ошибка.

То, что казалось высшей привилегией человека, приобрело вид опасного искушения; то, что питало его гордость, стало его величайшим унижением. Стоическое предписание: человек должен повиноваться своему внутреннему принципу, чтить этого «демона» внутри себя – стало рассматриваться как опасное идолопоклонство». [Эрнст Кассирер.]

«Победить страх, покорить судьбу, стать самому господином – вот что представлялось язычнику-римлянину высшей мудростью». [Хаустон Стюарт Чемберлен.]

«Что касается «социального долга» вообще, то мое положение относительно других никто не устанавливает: ни Бог, ни человечество; никто не смеет ничего предписывать мне, и сам я определяю свое отношение.

Я не смиряюсь более ни перед какой властью и признаю, что всякая мощь – моя мощь, которую я сейчас же должен подчинить себе, если она угрожает стать мощью и властью надо мной или против меня.

Все силы, которые господствуют надо мной, я низвожу до служения мне. Идолы существуют только благодаря мне, и если я не буду их снова созидать – они прекратят свое существование. «Высшие силы» существуют лишь потому, что я возвышаю их, а сам принижаясь». [Макс Штирнер.]

Без образа героя умирает миф, без мифа не существует культура. Как только из произведения искусства уходит сильный, гордый человек, превозмогающий на своем пути злые чудеса и обстоятельства, пустым и бесполезным становится это произведение, осиротевшим и жалким, как покинутое жильё. Ничемные, финитные произведения искусства, накапливаясь, создают в мозгу людей нигилистические стереотипы, разрушающие жизнь. Искусство слабых и неудачников – самое мерзкое и вредное детище рук человеческих и его гения. Талант – это прежде всего внутренняя сила, а уж затем все остальное. Если у тебя нет воображения и нравственной силы создать образ героя, ты не творец, знай, ты растлитель человеческих душ. Мировая история только так тебя оценит. В этом и заключается ее единственная сила и правда. Ты или гений-созидатель или чернец-разрушитель. Нет третьего в божественной эстетизации вечной человеческой души.

Борьба за жизнь оправдана всегда, даже тогда, когда уже, кажется, бессмысленна и жизнь и борьба, ибо борьба за жизнь имеет собственное высшее непреходящее значение, и она не исчерпывается фискальным смыслом. Человек, помни одно: даже когда борьба не принесет победы и жизни, твой героический пример обязательно спасет чью-то жизнь потом, может быть, даже через века. Неважно. Именно в этом и заключается высшее очистительное предназначение борьбы за

жизнь. Откройся навстречу вечности и борись с холодным неистовым безрассудством умалишенного, и ни перед кем не оправдывайся. Твой пример для истории человеческого рода бесценен, ибо незаметного героизма не бывает. Каждое явление жизни имеет своего героя, а каждый герой – своих почитателей. Если бы не было этой связи, наш мир давно распался бы, обратился в хаос, как ненужный, бесполезный и лишенный добра.

Кто понял эту истину – осознал высший закон метафизики жизни.

Я хлопнул дверцей нового фракийского спортивного автомобиля черно-синего цвета и с чувством шута, получившего дворянский титул за удачную, выходку, устремился к помпезным дверям министерства, бросая налево и направо короткие жизнерадостно-агрессивные поклоны. Я наблюдал за Балябиным в бане, во время охоты и еще несколько раз и сейчас пытаюсь сообщить своей мускульной массе характерные пластические пассажи бывшего владельца. Хотя я и есть теперь Балябин. Что за фамилия такая? Как ее можно носить? Легкое электрическое покалывание в висках выводит меня к кабинету и, с удовольствием усваивая элементы респектабельного убранства, быстро держу улыбающимся лицом, будто забралом, и громко здороваюсь с секретаршей. У бывшего владельца кабинетом был заправский вкус относительно служебных аксессуаров. Утонченное создание с длинными ногами, одетое в черно-красные тона, точно подобранные под цвета секретарского пульта. Вот бы знать, как ее зовут? И как выглядят все мои заместители и референты? Кресло послушно всасывает тело, которого я сам еще не перестаю побаиваться, не изучив досконально все возможности. Полно. Мне некогда клеить ярлыки на свои ощущения. Я государственный муж. Пепельное лицо компьютерного видеотерминала смотрит дружелюбно-укоризненно. Телефакс ждет информационных подачек с настойчивостью электронного цыгана, а настольный вентилятор готов усердно врубиться в воздух и выпотрошить из него летний зной. Держу подряд ящики огромного стола и цепляюсь всеми органами чувств за табуны цифр, кочующих сквозь докладные, закрытые письма, отчеты и невразумительные диаграммы. Целый ушат облегчения выливается мне за воротник, едва обнаруживаю книжицу в бордовом сафьяновом переплете с именами и телефонами всех сотрудников министерства, структурой организации отделов и шифрами для входящей и исходящей документации. Смотрю на этот увесистый путеводитель по дебрям одного из внутренних органов государственного мракобесия, и в моих пальцах появляется привычный зуд, ибо хочу расписать содержимое книжицы в два плотных синих и красных столбца и снова начать подкоп под человечество. Теперь-то уж тротиловый эквивалент разрушительной мощи моего Неверия вырос и достиг гигатонн и несчастной. Утопии придется трепетать, ибо еще ни один живой человек не подобрался так близко к ее трухлявому горлу. Подожди, окаянная, я избавлю человечество от кровососущих иллюзий. Это будет самая крупная диверсия в мировой истории, причем диверсия без человеческих жертв.

Рвотно-брезгливый комок зашевелился в горле под тугим галстучным узлом, и на ум во всей полусказочной феерии своих ужимок явился Эдуард Борисович Смысловский, да так проворно, будто обвалился.

– Будьте любезны, вызовите моего первого референта по вопросам этики, – громко шепчу, окунув губы в омут транслятора, и включаю вентилятор. Он терзает ни в чем не повинный воздух и окатывает лоб острыми обручками его волокон.

– Сейчас, – отвечает мне любезный сексуально-пластмассовый голос секретарши.

Метафизика власти крушит мое мальчишески мягкотелое озорство, отливая в полную статью новые качества. Наверное, такое же порфиородное чувство испытывали цари в первые утра своих царствований. Запускаю пальцы в кипу финансовых документов и вижу банковские счета.

Я богач...

Вспоминаю с благодарностью все детские сказки за то, что уже ничему не удивляюсь.

– Вызывали? – выплывает вкрадчивый голос Каноника, и с высоты моего положения он нежданно кажется не гадким, а просто человеком, уставшим от причуд системы и месопотамских таможенных тарифов.

Он подтягивает тесные брюки, смешно комкая в кресле ляжки будто из теста. Отец двоих детей, зачем же тебя занесло в этику? Научись сначала подбирать цвет галстука и следить за ногтями. Живот, так и быть, прощаю, равно как и компьютерные издевательства над Фомой Рокотовым. Ликуй!

– Присаживайтесь, у нас с вами, как обычно, разговоры не короткие. Видите ли, я вчера опробовал на себе это самое Неверие и понял, насколько мы зашли не в ту сторону с нашей глобальной социально-этической программой. Ничего экстраординарного психика Рокотова в себе не несет, да и вообще, знаете ли, мне сейчас уже начинает казаться бесперспективным наш метод поиска решения проблем страны. Ну, подумайте сами! Рассчитаем мы это самое Неверие и, естественно, изобретем от него противоядие – верноподданничество и законопослушание, но ведь самая суть острых проблем останется. Мы не похороним их с помощью нашей психотехнической эквилибристики. Не удивляйтесь, я сам только вчера понял, сколько мусора в голове у этого человека, которого мы сделали отправной точкой исследования. Мы погрязнем в бездне душевных состояний и навязчивых идей, никоим образом не отражающих ни общественного уклада, ни инфраструктуры государства. То, куда мы забрались в душе человека, не имеет никакого отношения ни к политике, ни к идеологии. Если внедримся туда и начнем что-нибудь делать по своему разумению, якобы укрепляя основы нравственности и очищая скривали добра, то пороки государственной системы сбегут в область подсознательного, если они только до сих пор не сделали этого, и последствия будут непредсказуемы. А вы не забывайте, ведь речь идет о многомиллионной нации. До сих пор устойчивая структура человеческой психики сопротивлялась массовым социально-политическим экспериментам, но вчера я ясно почувствовал, что своими действиями мы можем разрушить эту структуру, эту основу основ организации человеческого «я». Если бы вы знали, какое оно хрупкое там, внутри, безо всей этой кожуры из социальных обязательств и нравственных норм. Мы не можем предугадать последствия вторжения в человеческое «я», и это, безусловно, главное в моих опасениях. Об остальном просто умалчиваю. С помощью этой матрицы, снятой с человеческой психики, я понял одно:

идеологическая микрофлора нашего народа безмерно утомлена. Именно потому такие Рокоты и существуют, и лучший способ борьбы с ними – это оставить их в покое, такими, какие они есть.

– Что же мы будем делать с обширной программой, развернутой несколькими министерствами? – спросил мой референт, поживаясь от всамделишного испуга.

– Свернем и займемся экономикой. То есть, я хочу сказать, что мы, безусловно, не прекратим работу. Просто теперь мы пойдем по другому пути и будем совершенствовать психику нации не изнутри, а снаружи.

– А как же мы оценим состояние нравственности? – не унимался Смысловский.

– Тоже снаружи. И впрямь, какое нам с вами дело до того, что у кого творится в мозгах? Тем более, что знать это и не очень уж приятно. Последствия – вот что ценно, а не благие помыслы.

– Так, значит, оставить все как есть? Так прикажете понимать?

– Ни в коем случае. Я же сказал: нужно менять подход, идти к проблеме с другой стороны. Идти без промедления. И я понял это только с вашей помощью. С вашей помощью и с помощью лабораторий, которыми вы руководите. Благодарю вас.

Эдуард Борисович зарделся, еле заметно подбирая животик, и я подумал, что не буду, пожалуй, ему устраивать автомобильную катастрофу, как хотел раньше. Хотя, как знать, это будет зависеть от его дальнейшего поведения.

– Кстати, как себя чувствует этот Рокот? – вдруг неожиданно выплыл Смысловский из своей ухмылки.

– Отменно, я рассчитал его.

– Как это?

– Очень просто, мне надоели его юридские выходки, и я расторг с ним контракт. Ну, да ладно, этот шут не стоит такого внимания. Посмотрите лучше вот сюда...

Я отодвинул назойливый вентилятор и углубился очами в черновые наброски общегосударственных законов, предлагая участвовать в их разработке референту (...)

Отпустив Каноника, я забылся в размышлениях над гигантской картой страны. Неожиданно голос секретарши донесся как будто из селектора:

– С вами хотят говорить по телефону.

– Кто? – хамовато спросил я, успешно входя в роль.

–,–,–,– надушенное дыхание, разрезаемое запятыми, было мне ответом.

– Ну, ладно, соедините, – молвил я, уже причастившись тайн придворного этикета.

– Здравствуйте, Григорий Владимирович, – проник исключительно проворный голос в мою голову, катаясь внутри уха, будто вода, так что сразу захотелось его оттуда вытряхнуть.

– Добрый день, – ответил я, воображая, кто же это такой, кто звонит первому заместителю министра и кого боится вслух называть по имени секретарша.

– У меня для вас известия, – продолжал кататься в ухе голос, и по его интонациям я, будто археолог по отпечатку лапы, принялся мысленно мастерить габариты и вес зверя. – Дело в том, что наш... кхе-кхе... так сказать, божий помазанник два часа тому назад покинул страну на самолете, естественно, со своей супругой и ближайшим окружением. Ситуация в стране стала критической, центробежные силы, особенно на периферии, совершенно вышли из-под контроля. Ваш министр ночью убит неизвестными. Формируется новое правительство, и я хочу предложить вам портфель министра. Выручайте, голубчик, на вас вся надежда.

– Чтобы следующей ночью меня постигла участь предшественника?

– Да нет, ну что вы! Вы же прекрасно знаете, что ваш шеф не знал меры и не боялся Бога, хотя, конечно, о покойниках плохо говорить нельзя.

Голос становился все более паточно-соглашательным, словно шептал из суфлерской будки: «Вопрос с охраной, ну и прочее, все решено...»

Я припомнил свою охрану, когда еще состоял на государственной шутовской службе: одинаковые по форме скулы, плечи, бицепсы, икры неразговорчивых мальчиков – и согласился, точно речь шла не о портфеле одного из главных министров, а всего лишь о партии в преферанс. Безо всяких возвышенных размышлений о звездном часе я сытым голосом обленившегося самца в гареме ответил:

– Хорошо, я согласен.

– Вот и славно, готовьте текст меморандума, – обрадовался голос и вытряхнулся из моей головы, оставив вместо себя лишь частые гудки.

– Будет сделано, – сказал сам себе.

Соединившись по селектору, я вдруг властно крикнул:

– Нелли, подготовьте, пожалуйста, приказы о закрытии всех Этических консультаций и Института Повышения Квалификации Неудачников.

Конечно, ее не могли звать иначе, ведь Нелли – это самое сексуально-пластмассовое имя.

– Хорошо, босс. Текст разъяснений нужен?

– Нет, мотивировки не будет. Я уехал в департамент, а на шестнадцать часов вызовите из наших отделов или лабораторий ответственного по пластическим операциям.

– Хорошо, босс.

Равными порциями глотаю встречный воздух, рвущийся через открытое боковое окно машины. Кресло давно само приспособилось к очертаниям новой должности. Неугмонные огоньки табло бортовой электронно-вычислительной машины сообщают все сведения о поведении моего мощного фракийского автомобиля, а информация о состоянии автострады и движении на ней поступает с космического спутника и в виде красочных картинок отражается прямо на лобовом стекле. Все

удобно, как во сне. Включаю византийский лазерный аудио-проигрыватель. Вязкий отбойный ритм точно совпадает с ритмом пульса, и энергичное блаженство разливается по всему новому телу. Жалко, вот только запачкался левый туфель. Это единственное, чем омрачена моя новая судьба.

Поежившись от волнения свежепротезированной душой, я наконец-то оказался в своем старом жилище. Вот оно – логово нового Бога, начавшего восхождение на кручу мифа.

Старинное каменное ядро, привольно катающееся по квартире, логарифмическая бумага вместо обоев – все осталось по-прежнему. Ну, наконец-то обувная щетка попадает на глаза, и я довожу носок левой туфли до первоначального блеска. Уф! Теперь снова можно жить. Вынимаю с полок первый том академического собрания сочинений Генриха фон Клейста на арамейском языке, вырываю его портрет и быстро иду к тому окну, из которого виден гигантский монстр, облепленный зыбкими строительными лесами (...) Это даже не стройка века – это стройка истории. Одним приказом за моей подписью ее не закроешь. Ничего, я сокрушу это строительство изнутри (...) Против всякой идеи есть противоядие, и против вселенского счастья тоже. Между нами больше нет никого, кто бы мог помешать. Мы стоим лицом к лицу: я и Мечта Человечества. Утопия, даже у тебя не хватит воображения, чтобы предположить, что я сделаю с твоим трупом (...)

Из-под визжащих колес выскакивают мелкие торговцы наркотиками, уличные девицы, искупающие недостатки профессионализма краской на лице, пегие голуби и пегие же демонстранты. Я иду сквозь базар с единственной целью – купить огромную корзину цветов.

– Эй, мужчина, бери все! – кричит цыганка, живописно встряхнув плечами и указывая на целые россыпи крупных роз.

– Полную корзину цветов всех возможных расцветок для моей любимой женщины, – говорю, небрежно вынимая хрустящую пачку банкнот, доставшихся моему пиджаку от старого хозяина.

– Сколько я должен?

– Сто, – говорит она, сочась сладко-ядовитым лукавством, и перевязывает корзину красными атласными лентами.

– А это что такое?

– Какая-то железка от самолета, – отвечает она с классическим женским пренебрежением к технике.

Я недоуменно верчу в руках компактный процессорный блок управления полетными параметрами новейшего сверхзвукового нумидийского истребителя-бомбардировщика.

– А это сколько стоит?

– Тебе, красавчик, тоже за сто отдам, – молвит она, подбоченясь, окутывая всеми пестрыми цыганскими выкрутасами, и, кажется, считает деньги прямо в моих глазах.

– Несчастливая Нумидия, – рокочу я, улыбаюсь и пугаю прочих торговков грубым голосом. Не смотря по сторонам, еду на бывшую Безбожную улицу. Мне все равно, как она теперь называется. Четвертый этаж старого угрюмого здания, где даже воздух покрыт фигурной плесенью. Квартира Ж 28. Давлю электрический звонок. Едва уловимый скрип тех же пружин и спиц сквозь бездну бесцветного времени. Та же огромная кукла без лица и ног на инвалидной коляске с изумительной вежливостью спрашивает:

– Вы к кому?

– Николай Акинфиев?

– Да...

– Вам привет от Фомы Фомича Рокотова, – ощущаю еще непривычные мускулы.

– Спасибо, так вы прохо...

– Нет, благодарю вас, у меня совершенно нет времени. Дело в том, что мне поручено известить вас о следующем.

По инициативе одного благотворительного фонда вам будет сделана пластическая операция с полным возвращением прежнего вида. Настоящие глаза, волосы, ноги – все это будет пересажено максимально приближенно к вашему прежнему внешнему виду и полноценности. Фома Фомич рассказывал мне вашу трагическую историю.

– Кто вы? – спрашивает дрожащими губами молодой человек, ища меня пустыми глазницами, подернутыми одинаковыми шрамами.

– Фо... эк-хе. Владимир Григорьевич Балябин, его близкий друг, – говорю, стараясь не смотреть на уродство Акинфиева новыми глазами, ибо запомнил его навеки с помощью старых.

– А где сам Фома? – вкрадчиво спрашивает Николай, точно стараясь меня не поранить.

– Он уехал в длительную командировку по заданию фонда. Еще раз прошу меня простить, я очень тороплюсь. Постарайтесь привыкнуть к мысли, что через некоторое время вы вернетесь к людям. Это не злая шутка, поверьте.

– Верю, – еле слышно вымолвил он.

– До свидания, до встречи в миру, – не дожидаясь благодарностей, я устремился вверх по лестнице к следующей цифре «28», теперь уже на шестом этаже. И только уткнувшись в бледно-рыжую обивку двери, вспомнил, что влопыхах перепутал места имя и отчество, отчего безумно рассердился на человека, еще до вчерашнего вечера сидевшего в моем теперешнем теле, а теперь стертого подчистую, будто невыразительная мелодия на магнитофонной ленте. Остается только гадать, что вытворил бы со мною этот человек, стань он министром и не пустишь я в беспрецедентную аферу с перезаписью душ. Возможно, дискетка с матрицей души Фомы Неверующего продавалась бы в каждом провинциальном универмаге для всех, желающих впервые опробовать компьютер. Не хочу думать, что было бы. Вероятнее всего, меня просто незаметно убрали бы после окончания экспериментальной части социальной программы. Воистину всегда есть куда бежать. Даже если третьего не дано, его нужно придумать, схватить и использовать (...)

Гиперсексуальное наваждение во плоти открыло дверь, безо всякого смущения разглядывая меня, а пуще всего – внушительную корзину с цветами. Моим глазам открылось причудливое нагромождение лоскутьев материи с едва уловимыми для глаза демоническими орнаментами, масса оккультных побрякушек, позвякивающих всякий раз при плавных дви-

жениях тела, а также совсем не по-бесовски отлично уложенные светлые волосы, хрестоматийно обрамляющие значительное треугольное лицо, больше сходное с ликом какой-нибудь эрцгерцогини, а не ведьмы. Как только увидел идеальную форму ее груди, недавние тактильные воспоминания укусили меня изнутри со всей прытью нового тела. Но едва сановная похоть не порвала цепь благоразумия, как в этом густом пересечении сладостных линий я вспомнил пленительный образ, который был существенно моложе и обладание которым было сопряжено для меня со всеми атрибутами успеха. В результате я вновь ощутил себя министром с тугим кошельком, гладким лбом и крутыми плечами. Осмысленно утяжелив паузу всей массой тела, я еле заметно поклонился одними бровями и, мысленно поправив галстук, спросил:

– Если не ошибаюсь, вас, сударыня, величать Варварою?

– Именно, – был мне ответ, состоящий из движения губ и черных витых металлических клипсов.

– Ваш старинный приятель Фома просил кланяться вам и передать вот эти цветы, а также компактный процессорный блок управления полетными параметрами для вашей ступы. Он очень беспокоится за вас.

Два бенгальских огня бросились на меня из голубых оматов глаз, а также меня окатил струнно-дробящийся смех скатывающегося на спину лица.

– Проходите, – сказала Варвара, вдосталь насмеявшись и колыхнувшись в сторону всеми лоскутами диких расцветок, колдовскими ароматами, переливающимися из одного в другое движениями и звоном ажурных безделушек. Но едва проход для меня высвободился, как я обнаружил, что все его пространство было занято фиолетовым контуром спящего Лизино тела, и мне опять было не пройти. Непонятная эта вещь – людское вожделение.

– Нет, нет, благодарю вас, очень тронут, но, право же, мне и на самом деле некогда. Вот, возьмите, пожалуйста, цветы и процессорный блок. Вот эту шину данных включите в интерфейс системы управления вашей ступой и все. Приятного полета.

– Спасибо, – рассмеялась она снова. – Не беспокойтесь, я прекрасно разбираюсь в вычислительной технике. Кстати, а где сам Фома?

– Он? Как бы это выразиться? Видите ли, он стал Богом, – ответил я, опять заинтересовавшись носком туфли.

– Потрясающе! А как ему это удалось? – спросила обаятельная ведьма, искрясь истовым женским любопытством и острым профессиональным интересом.

– Вот бы знать, уважаемая! Ну да ладно, до свидания, приятных вам полетов в наше смутное время, – сказал я и поставил корзину с цветами как раз на то место, где мне мерещилось голографическое Лизино присутствие, отдал процессорный блок и удалился прочь, продолжая сквозь заплесневелый сумрак подъезда и притертые друг к другу лица уличной толпы видеть спящее лицо моей Лизы и чувствовать вкус Варваринной кожи (...)

Память моя – смертная врагиня, уйди (...)

Без двух минут четыре часа пополудни секретарша сообщила по селектору, что вызванный мною сотрудник министерства ожидает в приемной.

– Пусть войдет, – буркнул я, отодвигая черновые наброски нового кодекса общегосударственных законов.

В меру холерный клерк в сером костюме с квадратным лицом и желтыми от курения зубами поздоровался со мною и в ответ на предложение сесть долго не мог остановить выбор на одном из стульев, которыми был плотно обставлен второй стол в кабинете, специально предназначенный для приемов и совещаний. Наконец, изрядно повертев туловищем, чтобы по возможности уменьшить количество складок на одежде, молодой человек уселся и, не дожидаясь вопросов, принялся, как заведенный, рапортовать обо всех исходных служебных данных. Однако же, и выдрессировал тут всех прежний владелец моего тела!

– Так, так, – ободряюще, подытожил я, подсчитав количество складок на собственной одежде, затем вынул из черного пресс-атташе оборванную с края фотографию с портретом Генриха фон Клейста и, написав на листке бумаги адрес Николая Акинфиева, протянул и то и другое моему дисциплинированному посетителю:

– Задание заключается в следующем: человек, проживающий по этому адресу, в результате участия в военных действиях на иностранной территории лишился обеих ног, глаз, волос на голове и вообще практически не имеет лица. Посему необходимо, комбинируя ваши донорские запасы, придать ему внешность человека, изображенного на данной фотографии. Это должен быть полноценный во всех отношениях мужчина. Подчеркиваю, задание будет осуществляться в рамках общеминистерской программы и является абсолютно секретным. О ходе выполнения будете докладывать лично мне. Приказ о вашей персональной ответственности и особых полномочиях будет готов сегодня к концу дня. Вы свободны.

Человек поехал, аккуратно взял листок с адресом, фотографию и, тихо попрощавшись, удалился.

Стеснительные люди и извиняются, и смущаются с наименьшими охотой и тщанием, как бы походя и неискренне. Темперамент властвует всюду (...)

Я работаю на миф о себе, миф работает, на меня. Сколько поколений людей уже отреклось от старого мира. Теперь я, наконец, отрекаюсь от нового, который будто дождь, хотя и вызвать шаманы-утописты. Утопия – это, прежде всего, безраздельное владычество над людскими настроениями. А у меня всегда отличное настроение, и зависит оно только от меня. Итак, сживание со свету Утопии, сочетаемое с подкопом под нравственные устои человечества, продолжается (...)

Я вызвал на завтра на десять утра начальника реставрационной мастерской Максима Романовича Пиута, протянув секретарше его визитную карточку, сделал несколько распоряжений относительно внутреннего распорядка и велел подготовить ключи от нового министерского кабинета. Что же делать с этим самым Пиутом? Пожалуй, лучше всего, завалю его работой, и он будет «починять весь мир», как хотел. Я подписал приказ о назначении того молодого клерка ответственным лицом за выполнение пластической операции, с трудом вымучив подпись руки Балябина, и сделал несколько роскошных комплиментов секретарше Нелли, чем вызвал ее неподдельное оживление, состоящее из одних амарантовых придыханий. Кажется, у меня начинает развиваться комплекс дарителя (...)

На сегодня хватит, я еду к моей трофейной Богине. К моей восхитительной и ни о чем не подозревающей Лизе.

Я новый человек, потому что добровольно отказался от причитающихся мне страданий. Страдания никого не совершенствуют, и мировая история – лучшее тому доказательство. Я миновал это общеисторическое заблуждение о целительной чистоте страдания и упиваюсь настигнувшим меня счастьем, не щадя ни времени, ни ощущений.

Вся современная историография – это обыкновенная станция переливания пролитой крови. Переливания из одних домислов в другие, из вины одних в вину других. А мое Неверие – это бунт против кровососущих иллюзий человечества.

Я накопил целый ворох самых разных цветов, запутавшись в их запахах, названиях, и с неугомонным атомным реактором в груди поехал в свои новые владения, распорядившись по радиотелефону еще из машины, чтобы Марк готовил ужин на две персоны.

Я так торопился, что на пути нарушил какое-то правило, но какое именно, не помню.

«Дать современному человеку НОВЫЙ ВЗГЛЯД, из которого сама собою с неизбежностью возникает новая картина, вот что важно. Жизнь не имеет «цели». Человечество не имеет «цели». Существование мира, в котором мы на нашей маленькой планете составляем небольшой эпизод, есть нечто слишком величественное, чтобы такие жалкие вещи, как «счастье наибольшего количества людей», могли быть целью. В бесцельности заключается величие драмы. Но наполнить эту жизнь, которая дарована нам, эту действительность вокруг нас, в которую мы поставлены судьбою, возможно большим содержанием, жить так, чтобы мы вправе были сами собою гордиться, действовать так, чтобы от нас осталось что-нибудь в этой завершающей себя действительности – вот задача. Мы не «люди в себе». Это принадлежит прошедшей идеологии. Гражданство мира – это жалкая фраза. Мы люди определенного столетия, нации, круга, типа. Это необходимые условия, при которых мы можем придать смысл и глубину нашему существованию, можем быть деятелями, также посредством слова. Чем более мы заполняем эти данные границы, тем далее простирается наша действительность.

Фраза, что идея делает мировую историю, в том виде, в каком ее надлежит понимать, является заинтересованной болтовней литераторов. Идеи не выговариваются. Художник созерцает, мыслитель чувствует, государственный деятель и солдат осуществляют их. Идеи постигаются только кровью, инстинктом, а не абстрактным размышлением. Они свидетельствуют о своем существовании стилем народов, типом людей, символикой деяний и творений, и знают ли эти люди вообще о них, говорят ли они или пишут, верно или неверно, это маловажно. ЖИЗНЬ – это первое и последнее, и жизнь не имеет ни системы, ни программы, ни разума; она есть сама для себя и сама собою, и глубокий порядок, в котором она осуществляется, доступен только созерцанию и чувствованию – и затем, быть может, описанию, но не разложению на доброе и злое, верное и неверное, полезное и желательное». [Освальд Шпенглер.]

## § 27

Через некоторое время, после утверждения меня в новой должности министра я пригласил многих сослуживцев к себе домой, где и закатил неслыханное по экзотической вычурности веселье, лишь потихоньку выпуская джина Неверия из матрицы, чтобы он не посрамил честь нового мундира. Кто-то из охмелевших гостей, дивясь обилию новейшей техники в доме, источая слюнявую лесть и мякинно развалившись, спросил:

– Григорий Владимирович, давно хотел узнать, какие у вас любимые, ну как бы это сказать, чувства или ощущения? В общем, что вы больше всего любите?

– Только вам по секрету, так и быть, признаюсь. Больше всего на свете люблю религиозные чувства и оргазм, потому что я биверт.

Лыстец испуганно икнул, зарылся в лацканы пиджака и скрылся в закутках.

По моему большому дому катался цветной колотун музыки, витал и чертился смех, одетый протяжным звоном бокалов. Я разбил фужер с шампанским, долго вспоминая, как за несколько часов перед этим Лиза буквально обескровила мое воображение, заставив присутствовать на примерке своих бесчисленных нарядов.

– Одевай, что хочешь, только покрой ногти моим любимым черно-синим лаком, и ты будешь лучшей госпожой министершей в мире. Клянусь! – сказал я тогда ей и отправился к Марку, уже буквально стесавшемуся о столовые принадлежности.

А сейчас я с наслаждением развалился в кресле, изучая всем существом качество съеденного и выпитого, и, посмотрев на загрустивший профиль моей чудной Лизы, принялся было подливать ей шампанское, как вдруг она искристо оживилась и остановила меня, возложив красивую руку мне на запястье, и проникла в мои глаза царственно-заговорщицким взглядом.

– Мне теперь нельзя много пить, – тихо сказала она так, чтобы привычные к сплетням уши людей остались не у дел. С хрестоматийной тупостью уставился я в тарелку, не понимая, что на ней лежит и что имела в виду Лиза. Завидя мою общую озадаченность, она уже еле слышно произнесла, прильнув щекой к моему плечу:

– Милый, я беременна.

– Что, как и давно?

– Месяца полтора, я все не решалась тебе говорить раньше, но...

– Подожди, тихо, тихо... – потеряв всякую официальность и нижнюю часть тела, я устремился глазами к календарю на электронных часах, и простая операция вычитания вернула мне пантеистическое спокойствие, наполнив какой-то недоделанной торжественностью. Она не хотела говорить мне раньше, а я не хочу говорить ей теперь, кто я на самом деле.

О, Боги, благодарю вас, ведь она беременна моим НЕВЕРИЕМ! Я уже был новым человеком тогда.

Все отглаженные смокинги и блестящие лица дельцов, все меха, брильянты и глянцевые холеные спины их спутниц провалились в меня, точно в горловину черной дыры. Не стало ни музыки, ни яств, ни веселья, ни парада торжественных чувств. Я вышел в парк, чтобы переварить случившееся в моей новой жизни (...)

Бесцеремонно уселся на каменные ступени своего нового жилища новым телом, посмотрел на безмятежный ночной сад и с эвристическим удовольствием утвердился взглядом на молодом дубе, по листьям которого было видно, что он прижился на новом месте. Деревце тихо щекотало маленькими листьями пролетающий теплый ветер.

Мое священное языческое дерево, расти назло всем Утопиям и моноидеям!

Я вспомнил облик и жизнь того, кто лежал сейчас под корнями молодого дуба, и мне совершенно не захотелось плакать. Ничего, подобного горькой утрате, не испытывал я своим новым Неверующим наполнением. Одно только потаенное восхищение посетителя ночного капища владело мною.

Я попробовал встать, но мощный, первобытный по силе энергетический импульс пронзил меня так, словно все мои дальние бессчетные предки и все дальние несметные потомки разом зашевелились у меня в крови, будто вставая в полную статью, радуясь и молясь за меня, оттого что древняя первоприродная религия их снова дышит. И многие Боги их стремглав спустились в мой сад и склонились надо мною, едва я, спустя века, снова легонько позвал их и пообещал неистово служить верой, кровью и правдой. Здесь начинается хроника трансплантированной души.

В этот миг из дома снова повеяло яркой беззастенчивой музыкой, и я всем своим существом, заживо нанизанным на времена и обстоятельства, возжелал, чтобы ритм музыки, движения планет, звезд и космических энергий наполнил меня этим же самым неувядающим ненасытным ритмом бытия...

Я порадовался всему окружающему и наполняющему меня еще немного и вернулся к Лизе, гостям и новой дикорастущей жизни.

**Оцифровка книги: Боромир, 2005 г.**

*Посетите [Библиотеку Велесовой Слободы](#), где вы можете скачать все публикации с 2003 года, а также [Архив сайта](#)!*

Русский Интеллектуально-Познавательный Ресурс  
«ВЕЛЕСОВА СЛОБОДА»



Если вы хотите автоматически получать информацию о всех обновлениях на сайте, подпишитесь на рассылку --> [Новости сайта Велесова Слобода](#).